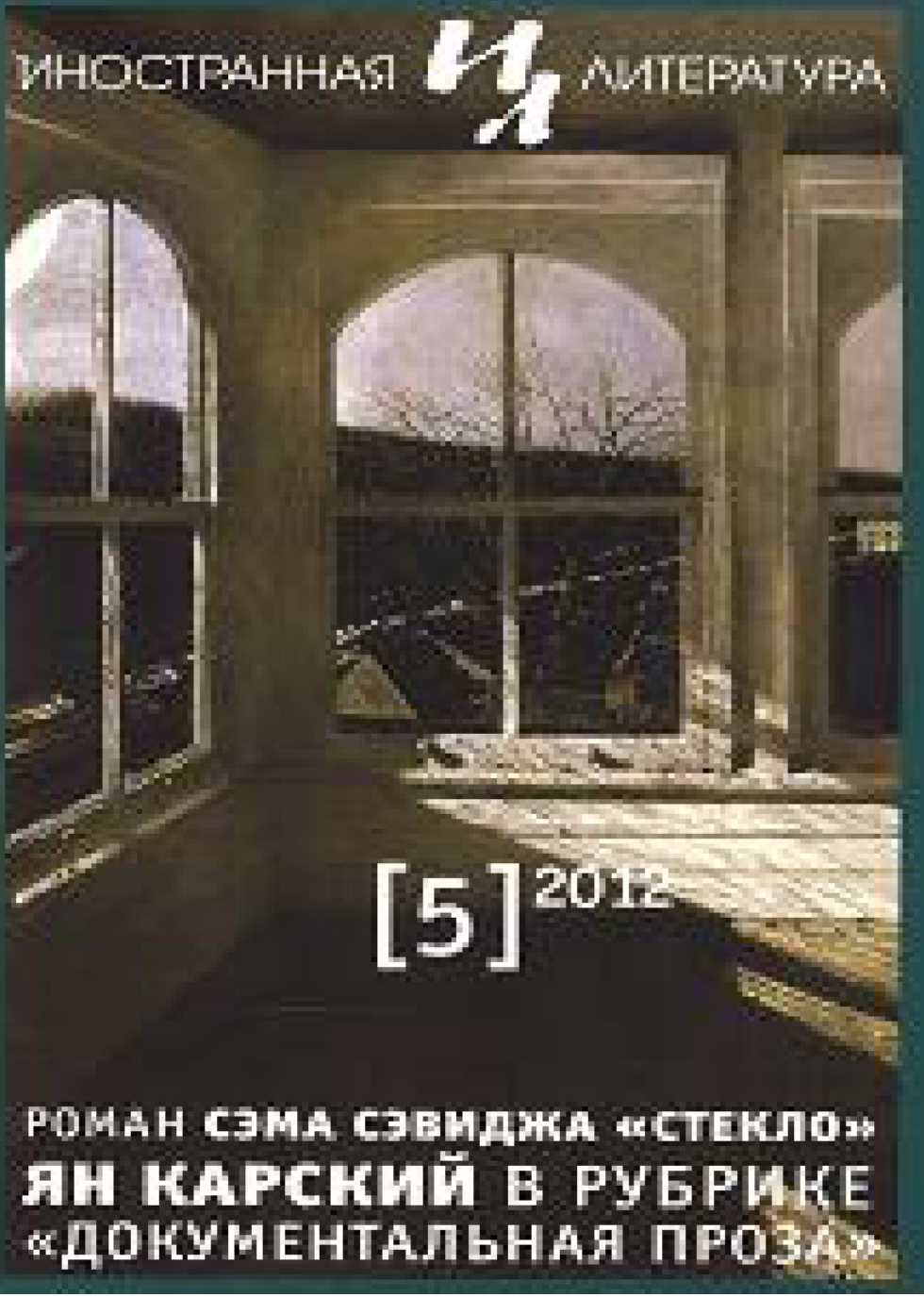
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[5] 2012

РОМАН **СЭМА СЭВИДЖА «СТЕКЛО»**

ЯН КАРСКИЙ В РУБРИКЕ «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор, герой польского сопротивления, правдиво и без излишнего надрыва повествует о событиях Второй мировой войны, свидетелем которых стал, по ходу неизбежно затрагивая болевые точки в русско-польских отношениях. Переводчик и автор вступления **Наталья Мавлевич** убеждена: «это свидетельство должно наконец прозвучать и по-русски».

- Мое свидетельство миру. История подпольного государства. Главы из книги
  - От переводчика
  - Глава I. Поражение
  - Глава II. В русском плену
  - Глава XXIX. Гетто
  - Глава XXX. Последний этап
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

Мое свидетельство миру. История подпольного государства. Главы из книги

От переводчика

Переводить эту книгу, особенно главы, выбранные для публикации в «Иностранной литературе», очень тяжело. Нелегко и читать. Душит боль и стыд. Но свидетельство героя польского сопротивления Яна Карского о событиях Второй мировой войны на территории Польши — от первых дней, когда немецкие и советские войска с двух сторон вторглись на ее территорию, до середины 1943 года, когда польский курьер встречался в Вашингтоне с президентом Рузвельтом, — это свидетельство должно наконец прозвучать и по-русски.

Книга была написана и впервые опубликована в 1944 году в США с целью рассказать о преступлениях оккупантов и борьбе подпольщиков и, главное, доказать миру, что польское правительство в изгнании не просто отсиживалось в Лондоне, а управляло действиями внутренней армии Сопротивления и имело право возглавить страну после победы, в которой подпольщики сыграли немалую роль. Вряд ли стоит напоминать, как на деле сложилась после войны судьба Польши, насильственно включенной в лагерь «стран народной демократии».

В молодости Ян Карский (тогда еще Козелевский, Карский — подпольный псевдоним) собирался заниматься дипломатией, и мечта его сбылась, но совершенно непредвиденным образом: бежав из советского плена, он стал тайным посланником тайного государства. На этом пути вместо светских приемов ему были уготованы подпольные явки, а вместо дипломатической неприкосновенности — пытки гестапо.

Читатель может мысленно продолжить цепочку событий, описанных в первых двух главах — эта цепочка приводит в Катынь. Ян Карский избежал участи оставшихся в СССР товарищей, чтобы стать связным между силами Сопротивления внутри оккупированной страны и за ее пределами. Ему не раз приходилось рисковать жизнью, перенося секретные материалы через границы, а выполнив последнюю миссию, он уже не мог вернуться в Польшу, поскольку стал слишком известен оккупационным властям, и остался до конца жизни в США, где преподавал в университетах.

Главы «Гетто» и «Последний этап», пожалуй, самые знаменитые в книге. Это практически первые документальные свидетельства о Холокосте. Благодаря Яну Карскому, специально проникшему в гетто и в лагерь уничтожения, власти союзников уже в начале 1943 года узнали страшную правду. Узнали и ничего не сделали. Незадолго до смерти, в последнем в своей жизни

интервью польскому телевидению, Ян Карский сказал: «Делать что-то в защиту евреев было просто невозможно. Английская и американская разведки прекрасно знали, что происходило с евреями. Наверняка они им сочувствовали, переживали, даже жалели их — но это была всего лишь второстепенная проблема, не имевшая никакого военного значения. Это была война, где гибли миллионы людей и надо было спасать все человечество. А какие-то там евреи? Кому до этого было дело?»

Долгое время о Карском и его книге никто не вспоминал. Новый всплеск интереса произошел в 80-е годы, когда на экран вышел фильм французского режиссера Клода Ланцмана «Шоа», в котором собраны живые свидетельства и воспоминания о нацистских лагерях смерти, — в этом фильме Ян Карский снова рассказал о своей миссии и ее этическом и историческом значении. Он выступил также на организованной Эли Визелем Международной конференции памяти Холокоста в 1981 году, а год спустя в Израиле ему было присвоено звание Праведника мира. Вскоре была переиздана и книга, которую перевели на многие языки мира.

Книга будет опубликована в издательстве «CORPUS/Астрель».

Глава I. Поражение

23 августа 1939 года я был приглашен на веселую вечеринку к сыну португальского посла в Варшаве г-на Суза де Мендеса. Мы были почти ровесники — ему было двадцать пять лет — и добрые приятели. У него было пять сестер, все хорошенькие и обаятельные. С одной из них я довольно часто встречался и в тот вечер сгорал от нетерпения поскорей ее увидеть.

К тому времени я только недавно вернулся в Польшу. Закончив в 1935 году Львовский университет Яна-Казимира и проведя год в конно-артиллерийском училище, я уехал стажироваться сначала в Швейцарию, потом в Германию и, наконец, в Англию. Меня интересовали вопросы демографии. Три года я работал в крупнейших библиотеках Европы, готовил свою диссертацию, старался получше овладеть французским, немецким и английским и усвоить образ жизни в этих странах, пока смерть отца не призвала меня в Варшаву. Мне по-прежнему больше всего нравилось изучать демографию, но постепенно стало ясно, что писать научные труды — не моя стезя. Я никак не мог закончить диссертацию, все тянул и отлынивал, а уже написанную часть работы у меня не принимали. Но это было единственное облачко на светлом, солнечном горизонте открывавшихся передо мной возможностей, и оно не слишком огорчало меня.

На вечеринке все чувствовали себя беззаботно и радостно. Просторный зал посольства был изящно, хотя, пожалуй, чересчур романтично, украшен. Собралась приятная компания. Очень скоро завязались оживленные разговоры. Помнится, с большим жаром отстаивали достоинства Варшавского ботанического сада по сравнению с хваленными европейскими, обсуждали новую постановку «Мадам Сан-Жен» Викторьена Сарду, а когда кто-то заметил, что Стефан Лечевский и Марселла Галопен, которых я хорошо знал, выскользнули из зала вдвоем, стали отпускать банальные шуточки по этому поводу, — всё, как обычно. О политике почти не говорили.

Мы пили хорошие вина, беспрестанно танцевали, в основном европейские танцы — вальсы и танго. А под конец Элен Суза де Мендес с братом исполнили для нас сложные фигуры португальского танго.

Вечеринка закончилась поздно ночью. Потом все еще долго прощались и даже на улице никак не расходились: болтали, договаривались о встречах на следующую неделю. Я вернулся домой уставший, но в голове роились радужные планы и не давали уснуть.

Разбудил меня громкий стук в дверь, причем мне показалось, что я проспал не больше минуты. Я вскочил с постели и побежал вниз по лестнице, ускоряя шаг и раздражаясь, оттого что стучали все сильнее. Наконец открываю дверь. На крыльце стоит хмурый, заждавшийся полицейский. Протягивает мне красную карточку, бормочет что-то невнятное и поспешно уходит.

Это был секретный приказ о мобилизации. Мне сообщалось, что я как подпоручик конной артиллерии должен в течение четырех часов покинуть Варшаву и явиться в расположение своего полка. В Освенцим — город на самой польско-немецкой границе.

То, как и в какое время был мне вручен этот приказ, который опрокидывал все мои планы, мгновенно настроило меня на самый серьезный и даже мрачный лад.

Я отправился к брату с невесткой и поднял на ноги обоих. Однако они приняли известие совершенно спокойно, и вскоре мне самому показалось смешным, что я так запаниковал.

Пока я собирался и одевался, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что объявлена частичная, весьма ограниченная мобилизация, которая касается небольшого числа офицеров запаса и затеяна лишь для того, чтобы они не теряли боеготовности. Мне посоветовали отправляться налегке, невестка даже отговорила брать с собой теплые вещи.

— Не в Сибирь же едешь, — сказала она, глядя на меня, как на восторженного школьника. — Через месяц вернешься домой.

Я успокоился. Возможно, все не так плохо и даже предстоит что-то интересное. Я припомнил, что Освенцим находится в красивых местах, среди равнин. И представил себе, как несусь по ним в офицерской форме на прекрасном армейском скакуне — верховую езду я любил страстно. Я надел свои лучшие сапоги. Как будто готовился к военному параду. Заканчивал сборы уже в отличном расположении духа. И даже в шутку посочувствовал брату: дескать, на этот раз «стариков» в армию не зовут. Он ответил парой крепких словечек и пригрозил всыпать мне как следует, если я не уймусь. А невестка велела нам перестать ребячиться. Наконец спешные приготовления завершились.

На вокзале было столько народу, будто там столпились все мужчины Варшавы. «Секретной» эту мобилизацию, подумал я, можно назвать только в том смысле, что нет никаких объявлений — ни на стенах, ни в газетах. Но призваны были сотни тысяч человек.

Вспомнились ходившие пару дней назад слухи о том, что правительство давно собиралось объявить всеобщую мобилизацию перед лицом немецкой угрозы, но его удерживали английские и французские дипломаты. Зачем «провоцировать

Гитлера»! В то время Европа еще верила в возможность мирных переговоров. И лишь ввиду практически открытых военных приготовлений Германии Польше наконец разрешили провести «тайный» призыв.

Обо всем этом я узнал намного позже. А тогда хоть и вспомнил о слухах, но встревожился так же мало, как и услышав их впервые. Перед вагонами толпились тысячи мобилизованных в штатском, их было легко распознать по походному чемоданчику. В этой толпе выделялись офицеры запаса в щегольской форме, они издали подавали друг другу знаки, перекликались, обменивались приветствиями. Но мне, как я ни искал, не попалось ни одного знакомого лица. Я стал протискиваться к поезду, что оказалось очень и очень нелегко. Вагоны были переполнены, все места заняты. Народ набился в коридоры и даже в туалеты. Настроение у всех было приподнятое, бодрое и даже веселое.

В дороге я постепенно начал понимать, насколько серьезно обстоит дело. Правда, мне все равно не приходило в голову, что вот-вот начнется война, но уже было ясно: о приятной прогулке можно забыть, происходит самая настоящая всеобщая мобилизация. На каждой станции к составу подцепляли новые вагоны для новобранцев, теперь уже в основном крестьян. Вид у всех был бравый и уверенный, не считая, разумеется, женщин: жен, матерей, сестер, наводнявших платформы; настоящие Ниобеи, они рыдали, заламывали руки, цеплялись за своих мужчин и не хотели отпускать. Молодые парни, стесняясь, вырывались из материнских объятий. Помню, на одном полустанке мальчишка лет двадцати кричал: «Хватит, мама, отпусти, скоро приедешь ко мне в Берлин!»

Дорога в Освенцим заняла вдвое больше времени, чем положено, поскольку поезд все время останавливался, подцеплял вагоны и сажал новых солдат. До казармы мы добрались только к ночи, и задора в нас поубавилось, сказывались жара и усталость — шутка ли, столько часов проехать стоя! Однако после довольно плотного ужина — за время пути все изрядно проголодались — силы вернулись, и я решил пройтись по территории, где мы были расквартированы, вместе с другими офицерами, с которыми познакомился в столовой. Нашел кое-кого из нашей дивизии, но не всех. Две батареи конной кавалерии уже отправились на фронт. В казарме оставались только третья и четвертая.

Трудно сказать почему, но, собираясь по вечерам в офицерском клубе, мы по молчаливому согласию старались не говорить и не спорить о главном. Если же все-таки заходила речь о нынешнем положении и о том, что ждет нас впереди, все

высказывались примерно одинаково, укрепляя общий оптимизм, который прекрасно отгонял сомнения и страхи и заглушал попытки трезво оценить изменения в европейской политике. Да и менялась она так стремительно, что, даже при всем желании, разобраться в этом клубке было бы нелегко. Что до меня, так я просто запрещал себе делать мыслительные усилия, которые могли бы открыть чудовищный смысл происходящего. Это подорвало бы все мои тогдашние представления о жизни.

Кроме того, я хорошо помнил, что говорил мне брат в первые часы после мобилизации, — ведь он был старше меня почти на двадцать лет, занимал важный пост в правительстве и всегда, сколько я помню, принадлежал к «хорошо информированным кругам».

Другие опирались на мнения друзей, знакомых и собственные соображения. Из всего этого мы заключали, что наша мобилизация — ход Польши в войне нервов с немцами. Германия слаба, Гитлер просто блефует. Когда он увидит, что Польша «сильна, едина и готова дать отпор», то отступит, и мы вернемся по домам. Если же нет, то Польша, с помощью Англии и Франции, как следует проучит этого одержимого клоуна.

А наш майор однажды вечером и вовсе заявил:

— На этот раз нам не надо никакой Англии и Франции. Мы и сами прекрасно справимся.

На что один из офицеров ледяным тоном заметил:

— Конечно, господин майор, сил у нас хватает, но… хорошая компания никогда не помешает.

На рассвете пятого сентября, около пяти утра, когда солдаты нашей конно-артиллерийской дивизии мирно спали, самолеты люфтваффе незамеченными долетели до Освенцима и, пролетая над нашими казармами, забросали всю округу зажигательными бомбами. Одновременно сотни мощных новейших немецких танков пересекли границу, и под их огнем все превратилось в руины и пожарища.

Трудно представить себе, сколько разрушений причинила эта атака всего за три часа, сколько погибло людей, какой воцарился хаос. Опомнившись настолько, чтобы оценить положение, мы увидели, что не способны оказать существенного сопротивления. Хотя нескольким батареям удалось каким-то чудом довольно долго продержаться на своих позициях и даже обстрелять немецкие танки. К полудню две наши батареи были уничтожены. Казармы разрушены до основания, железнодорожный вокзал снесен.

Поскольку стало ясно, что сдержать немецкое наступление не удастся, был дан приказ отступать; наша резервная батарея

покинула Освенцим и двинулась боевым маршем по направлению к Кракову, захватив с собой пушки, снаряды и провиант. Каково же было наше изумление, когда по пути к вокзалу прямо на городских улицах нас стали обстреливать из окон. Это были польские граждане немецкого происхождения, пятая колонна нацистов. Таким образом они проявляли лояльность к оккупантам. Многие из нас готовы были немедленно ответить и открыть стрельбу по подозрительным домам, но старшие офицеры запретили. Такие действия внесли бы беспорядок в наши ряды, а именно этого пятая колонна и добивалась. Не говоря о том, что в этих же домах могли жить и честные поляки-патриоты.

На вокзале нам пришлось ждать, пока починят пути. Мы сидели на земле под палящим солнцем, и все время, пока не подали состав, перед глазами у нас проносились недавние картины: горящие строения, обезумевшие жители, предательские окна в Освенциме. В тягостном молчании разместились мы по вагонам, и поезд двинулся на восток, в сторону Кракова.

Ночью он много раз останавливался и подолгу стоял. Иногда на таких стоянках мы дремали, а иногда просыпались и обсуждали случившееся; все как один рвались в бой. На рассвете появилось полтора десятка «хейнкелей», целый час они бомбили и обстреливали из пулеметов наш поезд и разнесли в щепки больше половины вагонов. Почти все там были убиты или ранены. Мой вагон уцелел. Оставшиеся в живых покинули разбитый поезд и пешком, без всякого строя, продолжали путь на восток.

Шла не армия, не батарея, не взвод, просто много людей шагали скопом, неведомо куда и зачем. Дороги были забиты беженцами и отбившимися от своих частей солдатами; точно катила огромная приливная волна, увлекая за собой всех встречных. Целых две недели эта лавина медленно двигалась на восток. Сам я держался группы, которая еще сохраняла какое-то подобие воинского подразделения. Мы надеялись дойти до новой линии обороны, остановиться там и вступить наконец в сражение. Но каждый раз, когда, казалось, такая возможность была близка, наш капитан получал приказ продолжать отступление и, пожав плечами, понуро указывал нам путь дальше на восток.

Плохие новости настигали нас, как хищные птицы, и рвали в клочья последние надежды: немцы заняли Познань, потом Лодзь, Кельце, Краков, наши самолеты и зенитки уничтожены. Дымящиеся руины городов, деревень и железнодорожных станций подтверждали эти горькие известия.

Через две недели, изнуренные, обессилевшие, ошалевшие и растерянные, мы подошли к Тарнополю [1]. Это было 17 сентября,

я не забуду этот день до самой смерти. Дорога раскалилась под солнцем, а наши ноги и наша обувь после четырех дней безостановочной ходьбы были в таком плачевном состоянии, что мы больше не могли шагать по пересохшей земле. Большинство предпочло идти по обочине, пусть даже получалось медленнее.

Так мы брели, без особой спешки, поскольку утратили всякое представление о цели, как вдруг толпа вокруг загудела и от одной группы к другой забегали люди, — это означало, что появились важные новости или волнующие слухи. Меня окружало восемь офицеров медслужбы — незадолго до того я остановил одного из них и попросил перевязать мне пятку, да так с ними и остался. И все мы сразу поняли: что-то случилось.

— Схожу узнаю, — сказал молодой капитан, которого мы все уважали за то, что он всегда старался следить за собой, — а вдруг хорошие новости!

— Ну да, — усмехнулся кто-то из офицеров, — наверно, Гитлер решил сдаться.

— Ладно, посмотрим, — сказал капитан и направился к группе пехотинцев, которые стояли метрах в двадцати позади нас и что-то оживленно обсуждали.

Мы решили дожидаться нашего добровольного гонца, укрывшись в скудной тени чахлого дерева. Он вернулся через несколько минут и, задыхаясь на бегу, еще издалека прокричал:

— Русские перешли границу! Слышите?! Русские перешли границу!

Его мгновенно окружили и забросали вопросами: откуда это известно, правда ли?

Оказалось, у кого-то из штатских было радио. Но что это означало? Русские тоже объявили нам войну? Они пришли как друзья или как враги?

Капитан не ручался за достоверность, но по его мнению… Однако ему вежливо дали понять, что мнение его в данный момент никому не интересно. Нам нужны факты.

Судя по тому, что рассказали капитану, кто-то поймал по радио русскую станцию, вещавшую на польских волнах с территории Польши. Постоянно передавались обращения на трех языках: русском, польском и украинском, — призывавшие поляков видеть в перешедших границу русских солдатах не врагов, а освободителей. Они пришли «взять под защиту украинское и белорусское население».

Слово «защита» не сулило ничего хорошего. Мы все помнили, как «взяли под защиту» Испанию, Австрию и Чехословакию. Или русские будут, если понадобится, воевать с немцами? А как же пакт Молотова — Риббентропа, он расторгнут, что ли?[2]

Капитан ничего этого не знал. Он передал все, что сказали ему пехотинцы. А по их словам, русское радио ничего не объясняло, зато распространялось о «наших украинских и белорусских братьях» и о том, что «все славянские народы» должны как можно скорее «сплотиться».

Жариться на солнце и теряться в догадках не имело никакого смысла. Лучше всего было побыстрее добраться до Тарнополя и там точно все узнать. Оставалось всего-то километров пятнадцать. Несколько часов ходу быстрым шагом. Мы собрались с силами и продолжили изнурительный марш. Теперь у нас хотя бы была цель, ради которой стоило поторопиться, и от этого стало легче на душе.

По дороге мы все гадали, что бы значили известия, которые до нас дошли, — наконец-то можно было поговорить о чем-то еще, кроме того, как далеко продвинулись немцы по нашей территории.

Ответ мы получили, еще не дойдя до Тарнополя, когда километрах в трех от городской окраины до нас донесся гул толпы, перекрывавшийся голосом из громкоговорителя. Шумело и грохотало где-то за поворотом дороги, так что видеть мы ничего не могли, а из слов говорившего слышали только невразумительные обрывки. Но поняли: там происходит что-то очень важное, и, несмотря на усталость, пустились бегом. Наконец мы миновали поворот, дальше дорога проходила по ровному открытому месту. Метров на двести она была пуста. Разрозненные группки бредущих солдат, которые мы привыкли видеть перед собой, сбились в плотную толпу на обочине. Вдали же виднелась длинная колонна военных грузовиков и танков, но чьи они — с такого расстояния было не определить. Нас то и дело обгоняли, и вот кто-то, судя по всему, наделенный орлиным зрением, прокричал на бегу:

— Русские, это русские! Я вижу серп и молот!

А очень скоро уже и не требовалось особой зоркости, чтобы убедиться в его правоте. С каждым шагом речь из громкоговорителя становилась все более отчетливой. Говорили по-польски, но с теми певучими интонациями, какие бывают только у русских. Однако когда мы подошли совсем близко, голос замолк. Зато поляки, окружившие, как мы поняли, русскую машину с радиоустановкой, принялись все разом обсуждать услышанное.

Теперь были отчетливо видны красные серпы и молоты на бортах автомобилей и танков. Грузовики были набиты вооруженными до зубов русскими солдатами. Итак, слухи, которые доходили до нас раньше, подтвердились: радиоголос

призывал всех, кто тут стоял, присоединиться к «русским братьям».

Как поступить? Каждый судил по-своему, но наши споры оборвал нетерпеливый окрик — на этот раз из громкоговорителя, который держал кто-то, сидевший в одном из советских танков:

— Ну так что, вы с нами или нет? Мы не собираемся торчать тут посреди дороги и ждать, что вы решите. Бояться вам нечего. Мы не немцы, а славяне, такие же, как вы. И мы вам не враги. Я командир роты. Пришлите ко мне несколько офицеров для переговоров.

Поляки снова загудели — мнения разделились. Большинство солдат не доверяли русским и не хотели принимать их предложение, офицеры колебались и были недовольны всем, в том числе самими собой. Я же совершенно растерялся, сердце в груди бешено колотилось, кто-то о чем-то меня спрашивал, а я даже не мог ответить.

Кому-то из офицеров пришло в голову, что, если бы мы выглядели как организованная армейская часть, это придало бы весу нашей позиции на переговорах. Унтеры забегали, пытаясь разбить солдат на подразделения. Напрасный труд — мы давно уже превратились в смешанное, беспорядочное сборище рядовых, офицеров и унтер-офицеров, среди которых не нашлось бы и десятка принадлежащих к одному полку. Даже оружия у многих не осталось, не было ни пулеметов, ни пушек. Мы пребывали в нерешительности, которая грозила затянуться до бесконечности.

Среди офицеров было два полковника. Посовещавшись, они наконец выработали план действий. Сначала подозвали к себе самых старших по возрасту офицеров и стали все вместе что-то негромко обсуждать. Потом от них отделился капитан, вытащил из кармана замызганный белый платок и, размахивая им над головой, медленным шагом направился к советским танкам.

Мы все смотрели на него, затаив дыхание; так зрители в театре смотрят на актера, который шествует по сцене в самый драматический момент пьесы. Он шел, а мы в настороженной тишине провожали его глазами, пока навстречу ему со стороны танков не выступил офицер Красной армии. Вот они сошлись, коротко отдали друг другу честь и, по всей видимости, вежливо заговорили. Советский офицер указал рукой на танк, из которого говорил майор, и они пошли туда вдвоем. Увидев эти, пусть самые мелкие, знаки дружелюбия, толпа облегченно вздохнула.

Это, однако, не значило, что мы успокоились. Нас вконец измотали две с половиной недели постоянного напряжения. Измучил полный разброд мыслей и чувств. Мы уцелели физически, но морально немецкий «блицкриг» уничтожил нас, и

мы настолько утратили всякие ориентиры, что едва понимали, что творится вокруг; мы не были ранены, но потеряли силы и волю.

Прошло с четверть часа, а польский капитан все не показывался. Мы ждали с тревогой и недоумением.

Ждали молча: события, которые разворачивались перед нами, казались такими нереальными и настолько отличались от всего, что мы видели или воображали, что даже говорить о них было страшно. Наконец эту воспаленную тишину прервал уверенный, сильный голос из рупора — слова звучали на чистейшем, без акцента, польском языке, все с того же советского танка.

— Офицеры, унтер-офицеры и солдаты! — начал он, точно генерал, обращающийся к своим воинам перед боем. — Говорит капитан Вельшорский. Десять минут назад я был послан на переговоры с советским офицером. И вот сообщаю вам важные новости. — Капитан сделал паузу, мы, оцепенев, ждали удара — и он обрушился на наши головы. — Советская армия пересекла границу, чтобы вместе с нами бороться с немцами, заклятыми врагами славян и всего рода человеческого. Ждать приказов польского верховного командования бесполезно. Ни верховного командования, ни правительства Польши больше нет. Мы должны присоединиться к советским войскам. Майор Пласков требует, чтобы мы сделали это сейчас же, предварительно сдав оружие. Потом оно будет нам возвращено. Я сообщаю это всем офицерам и приказываю всем унтер-офицерам и рядовым подчиниться требованиям майора Пласкова. Смерть немецким оккупантам! Да здравствуют Польша и Советский Союз!

Ответом была мертвая тишина. Все это было уму непостижимо. Мы стояли, потеряв дар речи. Онемели и застыли. Я был словно околдован, испытывал такое же удушье, как однажды, когда меня усыпляли эфиром.

Всеобщее оцепенение нарушил горестный всхлип. Я подумал, что мне послышалось, но звук повторился — кто-то отчаянно и все громче плакал навзрыд. Потом рыдания перешли в крик:

— Братья! Это четвертый раздел Польши! Господи, прости!

Грянул выстрел. Поднялась суматоха. Все хотели пробраться поближе к тому месту, откуда стреляли. Оказалось, один унтер-офицер пустил себе пулю в лоб и умер на месте. Имени его никто не знал, и никто даже не попытался узнать, поискав у него в карманах документы.

У нас не хватало душевных сил отозваться на эту трагедию, примеру самоубийцы тоже никто не последовал. Зато все, как по команде, принялись говорить, размахивать руками, спорить со стоящими рядом. Так бывает в театре, когда спектакль кончается

и опускается занавес. Офицеры только усиливали смятение. Они перебегали от солдата к солдату и требовали, чтобы те сдавали оружие. Убеждали колеблющихся. Если же рядовой упрямился, вырывали винтовку у него из рук.

С майорского танка между тем раздался новый приказ на польском с распевным русским акцентом:

— Польские солдаты и офицеры! Сложите оружие у белого домика под лиственницами слева от дороги. Пулеметы, автоматы, винтовки — все, что есть. Офицеры могут оставить при себе саблю, солдаты должны сдать штык и ремень. Всякая попытка утаить оружие будет рассматриваться как предательство.

Все как один обратили взоры на сиявший на солнце белизной домик, окруженный лиственницами. До него было метров тридцать. Под деревьями с обеих сторон виднелись пулеметы, обращенные стволами на нас, — вот теперь все стало предельно ясным. Мы, однако же, нерешительно переминались, никто не хотел быть первым. Но вот оба полковника твердым шагом подошли к домику, отстегнули револьверы и размашисто бросили их прямо к порогу.

Затем то же самое сделали два капитана. Начало было положено. Офицеры один за другим выходили и бросали оружие, солдаты ошеломленно на них смотрели. Когда подошла моя очередь, я действовал как под гипнозом и никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Подошел к домику, тупо посмотрел на груду револьверов, с сожалением вытащил свой собственный — как я старался содержать его в порядке и как мало он мне прослужил! Отличный, все еще блестящий, как новенький. Я бросил его в кучу и отошел с таким чувством, будто меня ограбили. После офицеров стали нехотя разоружаться солдаты. Причем оружия оказалось больше, чем мы думали. Я заметил даже солдат с пулеметом, а еще подальше три пары ломовых лошадей тащили тяжелое орудие полевой артиллерии. До сих пор не понимаю, откуда оно могло взяться.

Наконец все до последнего ствола и штыка было сдано и свалено в огромную кучу, и тут, к нашему удивлению, из двух грузовиков выпрыгнули советские солдаты и выстроились цепью по обеим сторонам дороги, нацелив на нас винтовки.

Громкоговоритель приказал и нам построиться в колонну лицом к Тарнополю, а, пока мы выполняли приказ, несколько танков завели моторы, быстро пересекли дорогу и встали позади нас на обочине, также обратив пушки в нашу сторону. Пушки на танках, стоявших впереди, тоже смотрели на нас. Колонна тронулась и, постепенно ускоряя шаг, двинулась к Тарнополю.

Итак, мы попали в плен к русским, а я даже не успел

повоевать с немцами.

Глава II. В русском плену

Уже темнело, когда мы вступили в Тарнополь. Жители, в основном женщины, дети и старики, высыпали на улицу и смотрели на нас. Они стояли с обреченным видом и не проявляли никаких эмоций. Две с лишним тысячи поляков, всего лишь две недели назад покинувшие свои дома с намерением гнать немцев до Берлина, шли теперь неведомо куда под дулами советских винтовок.

До сих пор мы шагали безучастно, а тут, под взглядами этих людей, вдруг с особой остротой осознали, какая участь нам уготована и как бесславно заканчивается наш поход. Именно тогда я в первый раз подумал о побеге. А по лицам товарищей по несчастью понял, что такая мысль зашевелилась у многих. Раньше они шли потупясь, теперь же осматривались по сторонам — искали взглядом брешь в цепочке русских конвоиров, куда можно было бы проскочить и смешаться с толпой. Колонна состояла из рядов по десять человек. Я был третьим слева. И примерно через каждые пять рядов шел вооруженный красноармеец. По воле судьбы один из них очутился в метре от меня. Я посмотрел на него, оценивая свои шансы, но он перехватил мой взгляд и свирепо сверкнул глазами. В этот самый миг четырьмя рядами впереди как будто что-то мелькнуло. У меня сильно забилось сердце. Затаив дыхание, я всматривался в то, что там происходит. Крайний в этом ряду выскользнул из строя и за спиной конвойного метнулся в толпу. Конвойный ничего не заметил. Как и другой, тот, что был рядом со мной, — он слишком внимательно следил за «своими» пленными. Толпа мгновенно сомкнулась за смельчаком, а его сосед справа тут же занял пустое место в ряду. Остальные подтянулись за ним, и, поскольку ряды были не такими уж ровными, исчезновение удалось скрыть.

Все это не заняло и минуты. Но настроение пленных неуловимо изменилось: они увидели, что один из их товарищей, отказавшись от пассивного повиновения, задумал и совершил дерзкий поступок.

Когда стало ясно, что побег прошел благополучно, я наклонился к соседу и как можно тише спросил:

— Видел?

В ответ он чуть заметно кивнул. Но тут конвоир, замыкавший наш ряд, повернулся всем корпусом и уже не спускал с меня злобного взгляда. Неудача. Мало того что этот солдат все время был настороже, так он еще явно сосредоточил особо пристальное внимание на мне. Он угрожающе вскинул винтовку, готовый в

любой миг пустить ее в ход, и было бы слишком опрометчиво давать ему повод нажать на спуск.

Все время, пока мы шли в сумерках, я озирался по сторонам и искал удобного случая бежать, но безуспешно. Моему воспаленному воображению всюду чудились мечущиеся тени. Темнота все сгущалась, так что точно сказать не могу: может, какие-то из теней и были реальными. Лязг танков, блеск ружейных дул в лунном свете, напряженное вглядывание в потемки — все это усиливало впечатление какой-то жуткой игры. Когда же я увидел перед собой здание железнодорожного вокзала, то окончательно понял: мне придется разделить судьбу всех несчастных пленных, какой бы она ни была.

Удрученные лица тарнопольцев говорили о том, что они знали о нашей трагедии, и это меня поразило. Они знали, что Польша раздавлена. Знали и понимали смысл происходящего лучше, чем вся варшавская интеллигенция, все мои просвещенные друзья и осведомленные коллеги-офицеры: Польша перестала существовать. И они обступили нас, чтобы помочь спастись тем ее сыновьям, которые еще могли бороться. Многие женщины принесли гражданскую одежду. Одна из них протянула пиджак солдату, приготовившемуся проскочить мимо охранников. Впрочем, бдительность их значительно ослабла. Глядя на эту женщину, мне хотелось плакать от гордости и восхищения. Я вытащил из кармана кошелек, где лежали деньги, документы и золотые часы, подарок отца. И, не поворачивая головы, чтобы не привлекать к себе внимание, левой рукой швырнул его в толпу. Только эту малость я и мог сделать для отважных тарнопольцев, мне же содержимое кошелька вряд ли могло бы еще пригодиться. Самые важные документы, золотой образок Остробрамской Божией Матери и немного денег, зашитых в одежду, остались у меня.

Наш жалкий марш в неизвестность окончился. Минуту спустя нас загнали в полутемный зал.

Здесь, в помещении вокзала, исчезли все шансы на побег, исчез и оптимизм, который поддерживал нас, пока мы шли по городу. В смрадном, битком набитом зале мы в полной мере ощутили накопившуюся за последние недели усталость и горечь утраченных надежд. Едва войдя, обессиленные люди садились или ложились на скамейки, ступеньки, а то и прямо на пол и засыпали свинцовым сном. Я тоже сел на пол, прислонил голову к скамейке, на которой храпели трое других офицеров, и уснул.

Проснулся я часа через два или три. Все кости ломило, хотелось есть и пить, и вообще было так худо, что дальше некуда. Офицеры на скамейке тоже очнулись и беседовали вполголоса.

Первый завел обычный для последних дней разговор о том, каково истинное положение польской армии и способна ли она еще сопротивляться. Ему печальным, тихим голосом отвечал серьезного вида поручик:

— Они не лгут. Польской армии больше нет. Пускай мы не сумели оказать никакого сопротивления немецким танкам и самолетам, но почему вы думаете, что другие части были лучше вооружены? Мы оказались совершенно не подготовленными, нам нечего противопоставить немцам, — продолжал поручик-пессимист. — А в наши дни на одной храбрости войну не выиграешь. Нужны авиация и танки. Вы видели хоть один наш военный самолет? Да у немцев их, наверно, в тысячу раз больше. Со всей остальной армией случилось то же, что и с нами. Мы много дней не получали никаких приказов от командования. Почему? Потому что никакого командования больше нет.

— Полно! — вмешался третий офицер. — Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Пусть нам не повезло — это еще ничего не значит. Сейчас у нас нет контакта с основной частью армии, но вполне вероятно, что мы скоро о ней услышим. Оглянуться не успеете, как мы вернемся на фронт, и немцев вышвырнут из Польши быстрее, чем они в нее вошли.

— Что ж, — ответил пессимист. — Если оттого, что вы верите в нашу победу, вам будет лучше спаться, верьте себе на здоровье! Я не собираюсь отнимать у вас последние иллюзии.

Он говорил спокойно, веско, а потому убедительно. Поначалу я склонялся к его мнению, но нарисованная им картина была так неприглядна, что мне не хотелось ее принимать. Чтобы вся польская армия была разбита за три недели — не может такого быть! В конце концов, немцы не волшебники. И вообще, мы же знаем: Варшава обороняется, по всей стране идут бои.

Утром подошел длинный товарный состав. Советские солдаты стали заталкивать нас в вагоны. Никаких документов не проверяли, устанавливать личности даже не пытались. Просто считали по головам: шестьдесят человек — полный вагон. Видимо, путешествие предстояло долгое, потому что русский офицер велел нам набрать воды из крана во все, у кого какие есть, емкости. Одновременно прибывали новые колонны пленных, создавая дикую неразбериху. Как я узнал позднее, тогда много кому удалось бежать: люди находили места, которые хуже охранялись, выбирались из здания вокзала, а там уж им помогало гражданское население Тарнополя, особенно женщины.

Я попал в один из первых подогнанных к платформе шестидесяти вагонов, и мне еще целых два часа пришлось ждать, пока заполнятся остальные. Посреди вагона стояла железная

печка, рядом с ней свалено кучей несколько килограммов угля. Из этого мы заключили, что нас повезут в холодные края, далеко на север. Всем раздали по полкило сушеной рыбы и буханке хлеба.

Ехали долгих четверо суток.

Каждый день поезд делал остановку на полчаса. В вагон приносили шестьдесят порций черного хлеба и сушеной рыбы. После раздачи пищи, часть из которой тут же съедалась, нам разрешали выйти из поезда на четверть часа. Мы могли немножко подышать свежим воздухом и пройтись взад-вперед по платформе, размять наконец затекшие ноги. А заодно посмотреть на местных жителей.

Уже на второй день мы заметили, что они одеты не как поляки и говорят на чужом языке. Последние сомнения исчезли: мы в России. Немногочисленные группки любопытных, по большей части женщины и дети, глазели на нас, не проявляя ни сочувствия, ни враждебности. Сначала мы не решались подойти к ним, потом кое-кто рискнул. Русские не отшатнулись, а продолжали смотреть на нас, некоторые даже улыбались. Они дали нам попить, женщины даже принесли папиросы, настоящее сокровище! Судя по всему, перед нами тут провозили других пленных, иначе откуда бы им знать, что может пригодиться.

На следующей остановке нам представился случай получше узнать, как относятся к нам русские. Посредниками и переводчиками служили двое-трое наших офицеров, бегло говоривших по-русски. Какая-то женщина протянула одному из них, здоровенному малому лет тридцати, не слишком опрятно одетому, но еще похожему на офицера, котелок с водой. Тот сердечно поблагодарил и сказал:

— Вы наши друзья. Мы будем вместе бороться с немецкими варварами и победим.

Но женщина нахмурилась и презрительно ответила:

— Вы? Вместе с нами? Вы, польские паны, фашисты?! Мы вас тут, в России, научим работать. Пусть для работы у вас сил хватает, а чтоб угнетать бедняков — нет.

Нас словно обухом огрели. Офицер так и застыл, а молодая женщина стояла и сурово смотрела ему в глаза. Она верила в то, что говорила, как в Священное Писание. Польскому пленному, как она считала, можно было дать воды, просто по-человечески, из жалости, но «братских чувств» со стороны русских он не заслуживал. Тогда я понял, какая пропасть разделяет наши страны, такие близкие по географическому положению, этнической принадлежности и языку, но столь далекие друг от друга в силу истории и разницы политических режимов. По

мнению этих людей, готовых поделиться с нами водой, именно мы, польские офицеры, были виноваты в розни между двумя странами. Мы в их глазах были сворой господ, панов-бездельников, неисправимых паразитов.

На пятый день поезд остановился в неурочное время. Мы доехали до места назначения. Вагоны открыли, нам велели выйти и построиться в колонну по восемь человек. Неподалеку виднелась деревушка, столь убогая, что ей даже не полагалось станционного здания. Только голая платформа. Несколько разбросанных домиков — вот и вся деревня.

С той минуты, как мы высадились из поезда, и в продолжение всего времени, проведенного в России, у меня не выходила из головы мысль о побеге. Я тосковал по родине, чувствовал себя потерянным, забытым Богом и судьбой и видел перед собой единственную цель: вернуться в Польшу, вступить в ряды нашей армии, которая, как я, несмотря ни на что, верил, все еще ведет тяжелые бои, и отомстить за ту страшную бомбардировку в Освенциме первого сентября 1939 года.

Нас куда-то погнали, и мы побрели, под резким ветром, с трудом переставляя ноги и переговариваясь на ходу о том, что с нами будет. Те, кто постарше, как водится, вели себя мужественно и принимали свою участь достойно и безропотно. Мы же, молодые, стонали, жаловались, строили планы восстания, прикидывали шансы на побег.

Но за несколько часов изнурительного марша все мысли о побеге и восстании улетучились. Только теперь мы по-настоящему ощутили, какая страшная беда на нас обрушилась и как далеко от нормальной жизни забросило нас за каких-то три недели. Я и сам до этого не сознавал, что был решительно отрезан от всего, что мне дорого: от близких, от друзей, от всех надежд на будущее. И каждая мелочь, каждый час словно расширяли и углубляли эту пропасть. Я нагнулся подтянуть лакированные кожаные сапоги, которые больно натерли мне ноги, и вдруг увидел, как дико смотрится эта роскошь на русской дороге, покрытой коркой затвердевшей грязи. Сапожки, заказанные у Хишпанских, лучших варшавских сапожников! Я так долго ждал эту обновку! Меня мучила жажда, и я вспомнил вина, которые подавали на балу в португальском посольстве, музыку, беззаботное настроение, сестер Мендес… Не прошло и месяца, а как все переменилось!

Наконец мы остановились на большой поляне, по краю которой росли высокие раскидистые деревья. А посередине стояло несколько — скорее всего, бывших — монастырских строений: церковь, жилые корпуса, хлева, амбары.

Нам зачитали в рупор на польском языке с сильным русским акцентом правила нашей новой жизни.

Прежде всего офицеров отделили от рядовых. Затем всех разбили на группы по сорок человек. К солдатам, как ни удивительно, отношение было лучше, чем к офицерам. Русские с самого начала дали понять, что условия нашего содержания будут тем лучше, чем ниже звание, — все наоборот! Простых солдат поселили в каменных строениях, оставшихся от церкви и монастыря, а нас, офицеров, — в деревянных бараках, переделанных из амбаров и хлевов; всего таких бараков было десять, по сорок пленных в каждом. Особо выделили полицейских и тех офицеров-резервистов, которые в гражданской жизни были судьями, адвокатами или чиновниками. Голос из рупора назвал их «угнетателями польских коммунистов и трудящихся». Остальным пленным приказали построить для них посреди монастырского двора специальные деревянные лачуги.

Офицеров заставляли выполнять самую тяжелую работу. Мы валили деревья в лесу и грузили бревна в вагоны. Как бы то ни было, я не раздумывал, справедливо или несправедливо то, что меня заставляют делать. Просто старался как можно лучше приспособиться к такой жизни и даже видел в ней нечто благотворное. Большевики старались всеми средствами внушить нам, «польским панам-выродкам», что, как гласит распространенный в Советском Союзе лозунг, «любой труд почетен».

Пищу для нас готовили в огромных чугунных котлах. Отчищать их было трудно и противно, эта работа требовала больших усилий, от нее очень скоро стирались ногти и начинали болеть руки.

Русские объявили нам, что мы должны чистить котлы сами — их солдатам некогда. Тем, кто возьмется за это добровольно, будет в награду разрешено доесть остатки, которые они соскребут со стенок котлов.

В офицерских бараках вызвалось только три человека, в том числе я. Работа, конечно, была неприятная и грязная, зато в течение всех шести недель, пока я ею занимался, я питался лучше других и, как ни странно, даже получал от нее некоторое удовлетворение. Ведь я доказывал самому себе, что, если понадобится, смогу выполнять работу по дому не хуже любого другого.

Каждую свободную минуту я проводил со своим товарищем, поручиком Курпесем, молодым, порывистым, энергичным и готовым бежать, рискуя головой, если только появится хоть какой-то шанс на успех; мы вместе обсуждали способы побега.

Выйти из лагеря не так трудно, но сесть потом в поезд совершенно невозможно, это нас и останавливало. До станции несколько часов хода, нас почти наверняка схватят по дороге. Да и поезда надежно охраняются. В общем, всякая попытка пробраться через холодную враждебную страну в наших мундирах, не зная языка, была обречена заранее. Оставалось ждать счастливого случая. И вот однажды лейтенант посвятил меня в свой, на первый взгляд, несуразный план.

Я шел на работу после обеденного перерыва, и вдруг кто-то хлопнул меня сзади по плечу. Это был мой юный приятель, запыхавшийся и пунцовый от волнения.

— Есть хорошая идея, — сказал он мне на ухо заговорщицким шепотом. — Думаю, дело выгорит.

— Какая? — так же пылко спросил я.

Но, заметив шагах в тридцати подозрительно наблюдавшего за нами русского охранника, пошел дальше и сменил тон.

— Успокойся, черт возьми, — сказал я, стараясь сохранить невозмутимость. — У тебя такой вид, будто ты собираешься взорвать весь лагерь.

Я незаметно указал ему на охранника. Он понял и зашагал рядом со мной. Теперь мы выглядели нормально: двое пленных идут куда-то по своей надобности.

Поручик рассказал мне, что готовится обмен военнопленными в соответствии с пактом Молотова — Риббентропа. На основании одной из его статей, обмену подлежали только рядовые. Немцы отпустят в Россию всех украинцев и белорусов, а русские перешлют в Германию всех поляков немецкого происхождения, а также уроженцев польских территорий, включенных в состав Третьего рейха на том основании, что это «исконно германские земли».

— Отлично! — усмехнулся я. — Значит, через неделю я буду танцевать в Варшаве на балу! Остается превратиться в рядового, поменять свидетельство о рождении, убедить русских и не загреметь в гестапо. Все проще простого — и как это я сам не догадался!

— Янек, я считал, ты умнее. Надо выбираться отсюда как можно скорей.

— Ну ладно. Давай подумаем, что из этого можно извлечь. Какие территории они там присоединили к своему рейху? Лодзь в него входит?

— Да. Видишь, тут все просто. У тебя есть какой-нибудь документ, подтверждающий, что ты там родился?

— Есть. Свидетельство о рождении, немножко потрепанное, но выправленное как положено. А у тебя?

— Место, где я родился, не удостоилось чести быть включенным в Третий рейх. Но я с этим потом разберусь. Давай пока займемся твоим случаем. Тебе остается только стать солдатом, а это легко. Я вообще не понимаю, как тебя занесло в офицеры!

— А я не понимаю, как я могу сойти за солдата. Форму не переделаешь, а другой у меня нет. Разве что украсть?

— Зачем красть! Попроси! Можно найти солдата, который не может или не хочет возвращаться, и, если в нем есть хоть капля патриотизма или простой человечности, он согласится поменяться с тобой формами. Сделать это надо за пределами лагеря, в лесу, во время работы, так что ты вернешься уже переодетым — вот и все!

План казался безупречным, по крайней мере, он позволял вырваться из России. Русские охранники никогда не проверяли пленных по именам и документам. Пересчитывали — и всё. Если я уговорю кого-нибудь из солдат — а я был уверен, что это нетрудно, — то подмену одного человека другим и одной формы другой никто не заметит. А уж по возвращении в Польшу — будь что будет! Очутиться там было бы невыразимым счастьем, и я ничуть не сомневался, что найду способ присоединиться к действующей польской армии.

— А как же ты? — спросил я. — Тебе нужно достать свидетельство о том, что ты родился на присоединенной к Германии территории. Вряд ли кто-нибудь захочет отдать тебе свое. Что ж ты будешь делать?

— Остается одно из двух: или достать такой документ, или попробовать и без него уломать советских начальников. Я понимаю, о чем ты думаешь. Если у тебя все получится, ты должен ехать без меня! А для меня можешь сделать вот что: когда поменяешься формой, надо будет идти к начальству и просить, чтобы тебя отослали в Германию. Так вот, последи, как поведет себя офицер, насколько внимательно он будет проверять документы, и так далее. А я уж буду действовать, исходя из этого.

Мы подходили к баракам. Мне надо было на кухню, ему — в свой барак, а потом на работу в лес.

— Ну, прямо сейчас и возьмусь за дело, — сказал я с бьющимся сердцем и, чтобы заглушить чувство вины перед поручиком за то, что у меня все складывается так удачно, прибавил: — Надеюсь, уже к вечеру смогу тебе что-нибудь рассказать.

Он улыбнулся и помахал на прощанье рукой.

На кухне рядом со мной работал толстый крестьянин-украинец старше меня, мы неплохо ладили. Он сразу заметил, что

я взбудоражен, и спросил почему. Я ответил, что мне нужна его помощь, что это очень важно, и, пока мы драили котлы, рассказал весь план действий. Идея ему понравилась, он согласился не раздумывая. Во-первых, он не верил в посулы немцев и не согласился бы на обмен, даже если бы имел на него право, а во-вторых, ему очень хотелось мне помочь. Решено было проделать все во второй половине дня на лесоповале, где работали и солдаты, и офицеры.

Когда мы шли на вечернюю работу в лес, я затесался в тот отряд офицеров, который был ближе к выходящим из бывшей церкви солдатам. Охраняли нас не очень тщательно — русские понимали, что если кто-нибудь и сбежит из лагеря, то далеко не уйдет. По дороге я заметил, что мой друг Парадыш примкнул к самому ближнему к нам отряду солдат. Мы шли метрах в двадцати друг от друга, и между нами никого не было. Проходя мимо толстенного дерева, украинец указал на него рукой. Я кивнул.

Еще пара минут — и мы добрались до места работы. Я замахнулся топором и рубанул по лежавшему передо мной стволу, снова поднял топор и осмотрелся. Охранник находился от меня метрах в ста, других поблизости не было. Я отшвырнул топор и, стараясь не шуметь, побежал к дереву, которое показал мне друг. Он уже стоял за ним, полураздетый. Я бросился на землю и стал стягивать с себя форму.

— Слов нет, как я тебе благодарен, — смущенно выговорил я, снимая китель и рубашку.

— Ладно, помалкивай, — усмехнулся украинец. — И не переживай. Я даже не собираюсь жить с твоими офицерами. Надевай мою форму — назад пойдем вместе. Когда дойдем до церкви и нас пересчитают, ты входи, а я приотстану. Проскочу мимо охранников немного погодя. Документы у меня есть, а доказать, что я солдат, легче легкого — сорву погоны, и твоя форма сойдет.

— Отлично! — сказал я. — Хотя офицеры не такие уж плохие.

— А я и не говорю.

— Спасибо, спасибо тебе!

Мы переоделись. Сорвав знаки различия с моего кителя, солдат Парадыш быстро закопал их в землю. И мы оба поспешно вернулись на свои места. Чтобы справиться с лихорадочным волнением, я орудовал топором, как бешеный. Когда настало время возвращаться в лагерь, я пошел налево и смешался с солдатами. Их предупредили о моем появлении, так что никто меня ни о чем не спрашивал. У входа в церковь охранники проверили, сколько нас. Мой друг отстал и вскоре залез внутрь

через маленькое неохраняемое окошко. Все прошло как по маслу. Теперь я был рядовым.

На следующее же утро я сказал охраннику, что хочу поговорить с комендантом лагеря. Узнав, по какому поводу, охранник повел меня в один из оборудованных в здании церкви кабинетов.

За столом сидел и что-то писал немолодой офицер. Он посмотрел на меня, зевнул, потянулся, заглянул в мои документы и спросил:

— Как зовут? Что надо?

— Рядовой Козелевский, бывший рабочий, родом из Лодзи.

— Ну и что ты хочешь?

— Вернуться на родину, пан начальник.

— Ладно. Я запишу. — Он уже отпустил меня, но вдруг передумал и небрежно спросил: — Чем ты можешь подтвердить место рождения?

Я показал ему свидетельство. Он мельком на него взглянул, взял листок бумаги, что-то на нем написал и усталым жестом положил на место. Потом снова зевнул, потянулся и потер глаза. Наверно, я невольно хмыкнул, глядя на него, потому что он вдруг взвился и заорал:

— Нечего тут торчать!

Меня отвели обратно. Я еле сдерживал ликование и с трудом сохранял спокойный вид. После обеда я отыскал в лесу поручика Курпеся, все ему рассказал и заверил:

— Этого без всяких документов легко убедить. Он и сам рад выпроводить всех, кого можно.

Поручик тоже так думал.

— Все-таки я попробую в ближайшие дни раздобыть документы, — сказал он. — Не стоит лишний раз рисковать.

— Хорошо бы мы поехали вместе.

— Да, если я успею к ближайшей отправке. Если же нет, встретимся в Варшаве. Тебе лучше ехать без промедления. На случай, если больше не увидимся, прощай! Желаю удачи!

— Постарайся успеть. Тебе тоже удачи, будь осторожен!

С тех пор я его не видел. Уже на следующее утро меня отправили тем же путем, каким я ехал полтора месяца назад, только в обратном направлении, в составе двух тысяч солдат, которых русские меняли на такое же количество украинцев и белорусов.

Кто-то из тех, кого так же обменяли, потом сказал мне, что ехал вместе с Курпесем. Это все, что мне о нем известно. Больше наши пути не пересекались.

Глава XXIX. Гетто

Перед отъездом из Польши мне, по приказанию представителя польского правительства в Лондоне и командующего Армией Крайовой [3], устроили встречу с двумя людьми, в прошлом влиятельными лицами в еврейской общине, которые возглавляли еврейское сопротивление. Один из них представлял сионистскую организацию, другой — Еврейский социалистический союз, Бунд [4].

Встреча проходила в сумерках в огромном полуразрушенном пустом доме в варшавском районе Грохов. Одно то, что бундовец и сионист, несмотря на все разногласия, явились вместе, уже о многом говорило. Это означало, что документы, которые они собирались передать через меня польскому правительству и союзникам, не касались политики и исходили от всей общины. В них содержались сведения, относящиеся ко всему еврейскому населению Польши, и выражались чувства, а также излагались просьбы и напутствия всего народа, находившегося на краю гибели.

Не передать словами, сколь ужасающе было то, что я сначала услышал там, в пустом доме, а потом увидел собственными глазами в гетто, куда меня отвели, чтобы я убедился в правдивости этих рассказов. Я знаю историю. Много читал о разных народах, политических системах, социальных доктринах, завоеваниях, гонениях и истреблениях. Но знаю и то, что никогда в истории человечества, нигде и никогда не случалось ничего хотя бы отдаленно похожего на то, что сделали с польскими евреями.

Никогда не забуду тех двоих — они воплощали страдания и отчаяние целого народа. Оба жили вне гетто, но постоянно там бывали, у них имелись способы входить и выходить оттуда. Впрочем, как я вскоре узнал на собственном опыте, это было не так уж трудно. В гетто они были самими собой и ничем не отличались от других его обитателей. А на «арийской» стороне преображались, чтобы не вызывать ни малейшего подозрения. Иначе одевались и иначе держались. Становились другими людьми. Словно актеры, которым приходится играть одновременно две взаимно исключающие роли. И каждый раз им нужно было следить за собой, чтобы не выдать себя речью не на том языке, нечаянным жестом, поступком. Малейшая ошибка могла стоить жизни.

Бундовскому лидеру это, вроде бы, давалось довольно легко. У него была внешность типичного поляка, светлые глаза,

румянец, большие усы. Такой элегантный господин лет шестидесяти. До войны он был адвокатом и специализировался на запутанных уголовных делах. Теперь, на арийской стороне, — владельцем магазина бытовой химии и стройматериалов. Все звали его «паном инженером», уважительно к нему относились, ценили его общество, приглашали в гости[5]. И только когда он повел меня в гетто, я понял, чего стоит ему эта комедия. Куда девался его уверенный, респектабельный вид! В одно мгновение благовоспитанный польский инженер исчез, превратившись в одного из тысяч несчастных изможденных евреев, которых терзали и зверски убивали нацистские палачи.

Сионисту было едва за сорок. Ему, с его ярко выраженными семитскими чертами, было гораздо труднее замаскироваться. Он производил впечатление совершенно измученного человека, который с трудом держит себя в руках [6].

Первое, что я тогда ясно осознал, была полнейшая безнадежность положения польских евреев. Мы, поляки, переживали войну и оккупацию. А для них наступил конец света. Бежать ни эти двое, ни их товарищи никуда не могли. Однако это была только одна из сторон трагедии, одна из причин их отчаяния. Они не боялись смерти, принимали ее как что-то почти неизбежное, но все усугублялось горькой уверенностью, что в этой войне для них нет никакой надежды на победу или хоть на возмездие — надежды, которая помогла бы смириться с неизбежной смертью. Именно с этого начал сионист.

— Вы, поляки, счастливые люди. Конечно, многие из вас страдают, многие умирают, но все-таки ваш народ выживет. После войны Польша восстановится. Отстроятся города, зарубцуются раны. Эта страна, которая и для нас была родиной, восстанет из моря слез, страданий и унижений. Только нас, евреев, в ней уже не будет. Весь наш народ исчезнет. Гитлер проиграет войну против всего человечества, добра и справедливости, но нас он победит. «Победит» — это еще не то слово. Он просто перебьет нас [7].

Это был страшный вечер. Мои собеседники тяжелыми шагами мерили комнату, освещенную одной-единственной свечой — больше мы не могли себе позволить; тени их метались по стенам. Я сидел на сломанном кресле, которому одну из ножек заменяли два положенных друг на друга кирпича. Сидел не шевелясь — не столько боялся упасть, сколько окаменел от того, что слышал. Наконец сионист не выдержал и разрыдался:

— Зачем я все это говорю? Зачем еще живу? Пошел бы лучше к немцам и признался, кто я такой. Когда они истребят всех евреев, кому будут нужны бундовцы, сионисты, раввины! Что

толку говорить все это вам? Ведь никто в мире не может этого понять! Да я и сам… я сам не понимаю!

Бундовец как старший попытался его успокоить:

— У нас мало времени, а обсудить надо многое. Не будем отклоняться от главного.

Секунду все молчали. Потом, сделав над собой усилие, сионист прошептал:

— Извините…

Я тоже с трудом сохранял спокойствие.

— Я понимаю ваши чувства. И постараюсь сделать для вас все, что смогу. Я отправляюсь в Лондон с миссией от польского сопротивления. Весьма вероятно, что у меня будет случай выступить перед представителями союзнических властей.

— Правда? — с надеждой воскликнул сионист. — Вы думаете, вас допустят к Черчиллю и Рузвельту?

— Не знаю. Но почти наверняка буду говорить с кем-нибудь из их окружения. В Лондоне наше правительство представит меня совершенно официально. И миссия моя — официальная. В ее рамках я намерен передать ваше воззвание всему миру. И я это сделаю. Что вы хотите, чтобы я сказал от имени евреев?

Первым отозвался представитель Бунда:

— Мы хотим, чтобы польское правительство в Лондоне и правительства союзников поняли, что мы беззащитны перед злодеяниями нацистов. Уничтожение евреев — это факт. И никто в Польше не в силах нам помочь. Польское сопротивление может спасти лишь немногих. Основную массу оно не спасет. И не остановит истребление. Немцы не собираются превращать нас в рабов, как поляков и другие завоеванные народы. Они хотят уничтожить всех евреев. Вот в чем разница.

— Этого-то и не понимают в мире. И мы никак не можем объяснить. Они там, в Лондоне и Вашингтоне, наверняка считают, что истеричные евреи всё преувеличивают, — нервно прибавил сионист.

Я молча кивнул.

— Мы все погибнем, — продолжал бундовец. — Или выживет горстка. Три миллиона польских евреев обречены на уничтожение. Как и все другие, свезенные со всей Европы.

Ни польское, ни, тем более, еврейское сопротивление ничего не могут сделать[8]. Так что вся ответственность ложится на союзников. Только извне можно оказать евреям действенную помощь.

Вот это трагическое послание я должен был предъявить свободному миру. И я знал, что к тому времени, когда два измученных человека мне его передавали, нацисты уже успели

уничтожить 1 850 000 евреев.

Для меня заранее приготовили подробное донесение о смертности евреев в Польше. Я попросил кое-что уточнить:

— Вы можете сказать хотя бы примерно, сколько обитателей гетто убито?

— Это можно вычислить довольно точно: число убитых почти полностью совпадает с числом депортированных, — ответил сионистский лидер.

— Вы хотите сказать, что все депортированные убиты?

— Все до единого, — подтвердил бундовец. — Немцы, разумеется, это отрицают и стараются скрыть. Даже теперь, когда уже нет никаких сомнений, люди продолжают получать успокоительные письма от своих родных и друзей, о чьей смерти доподлинно известно: там написано, что они здоровы, работают, едят мясо и белый хлеб. Но мы знаем всю правду и можем устроить так, чтобы вы сами все увидели воочию.

— Когда начались депортации?

— Первые распоряжения поступили в июле. Немецкие власти требовали от гетто по пять тысяч человек в день. Их якобы вывозили из Варшавы на работы. А на самом деле отправляли прямо в лагеря уничтожения. Когда инженер Черняков [9], глава юденрата, получил приказ собирать по десять тысяч «работников» в день, он покончил с собой. Потому что знал, что это значит.

— А сколько всего человек «депортировано»?

— Более трехсот тысяч. Остается чуть больше ста тысяч, но депортации продолжаются.

Я похолодел. Был октябрь 1942 года. За два с половиной месяца в одном только варшавском гетто нацисты совершили триста тысяч убийств!

Об этом я должен был сообщить всему миру.

Мои новые знакомые предложили провести меня в гетто, чтобы я собственными глазами увидел картину гибели целого народа. Свидетельству очевидца поверят больше, чем рассказу с чужих слов. При этом они предупредили, что если я соглашусь, то подвергну риску свою жизнь, а жуткие сцены, которые я там увижу, будут преследовать меня до конца моих дней. Я сказал, что согласен.

Вторая встреча состоялась там же, где и первая. Говорили о нашем «походе» в гетто и о том, как мне лучше рассказать о положении евреев, когда я попаду в Лондон. Под конец я спросил, что отвечать на вопрос: как же им помочь? Мои собеседники смотрели на вещи с горестной трезвостью. Прекрасно понимали, что большая часть их предложений нереализуема, но высказать их нужно, поскольку ничто другое не прекратит страданий

еврейского народа.

— Немцы понимают только язык силы и принуждения, — начал сионист. — Надо безжалостно бомбить их города, сбрасывать при каждой бомбардировке листовки, рассказывающие немцам об участи польских евреев, и обещать, что то же самое ждет всю немецкую нацию во время и после войны. Мы не призываем убивать мирное население, но такая угроза — единственное средство остановить зверства. Страх за свою жизнь заставит жителей Германии повлиять на своих главарей, чтобы те отказались от преступной политики. Вот и все, чего мы хотим.

— Мы знаем, — продолжил лидер Бунда, — что такой план может быть отвергнут, потому что он не укладывается в представления союзников о методах ведения войны. Но ни евреи, ни те, кто хочет им помочь, не должны рассматривать происходящее только с военной точки зрения. Скажите правительствам союзников, что, если они действительно хотят нам помочь, они должны официально заявить немецким властям, что продолжение расправы навлечет страшную кару на немецкий народ и закончится последовательным уничтожением всей Германии!

— Понимаю, — сказал я, — и приложу все усилия, чтобы и они вас поняли.

— Скажите еще вот что, — добавил сионист. — Гитлер провозгласил, что немцы — все немцы, где бы они ни жили, — составляют одну расу, национальное и политическое целое. Он объединил их в единой армии, призванной завоевать мир и создать «новую цивилизацию». И заявил, что в этой цивилизации нет места евреям и их нужно истребить. Это беспрецедентное явление в истории, и реакция на него тоже должна быть беспрецедентной. Пусть власти союзников отдадут приказ публично казнить всех немцев, где бы они ни обитали: в Америке, в Англии, в Африке — везде! Вот о чем мы просим.

— Странная идея! — воскликнул я. — Такая просьба только удивит и ужаснет тех, кто хотел бы вам помочь.

— Разумеется! Думаете, я не знаю? Мы потому и просим, что рассчитываем вызвать возмущение. Чтобы мир осознал, что с нами происходит, с каким преступлением и с какими преступниками он столкнулся. Насколько безнадежно наше положение. Победа союзников через год, два или три ничем нам не поможет… потому что нас уже не будет.

Они замолкли, словно давая мне время проникнуться всем ужасом этой истины. Молчал и я — что скажешь перед лицом величайшей трагедии!

— Но этого не может быть! — вдруг закричали они в один голос, потрясая кулаками, словно угрожая всем, кто находится по другую сторону баррикады. — Не может быть, чтобы весь мир, все демократические западные страны оставили нас вот так умирать! Если спасают американских и английских подданных, то почему нельзя организовать массовую эвакуацию пусть бы только еврейских детей?! Еврейских женщин?! Больных и стариков?! Почему союзники не предложат обменять их на пленных? Или на деньги? Почему не хотят выкупить жизни хоть нескольких тысяч польских евреев, чтобы было кому продолжить род?

— Но как? Как это сделать? Разве можно давать деньги врагу? Обменивать мирное население на немецких военнопленных? Гитлер тут же пошлет их на фронт! Это противоречит всем принципам ведения войны!

— Как всегда! Мы только и слышим: «противоречит принципам», «противоречит стратегии»! А нельзя ли приспособить стратегию к реальным условиям? Условия диктует Гитлер. Разве мир не видит его «стратегию»? Почему же он ее принимает?

Ответа я не знал. Точнее, не хотел знать. И только спросил:

— Вы хотите что-нибудь передать еврейским лидерам в Англии и Америке? Возможно, я увижусь и с ними. Наверняка у них есть свои соображения о ходе войны. Могу я стать для них вашим представителем?

Бундовец подошел ко мне и с такой силой сжал плечо, что мне стало больно:

— Скажите им, что о политике и дипломатии пора забыть. Скажите, что надо потрясти весь мир до основанья, чтобы он наконец проснулся! Скажите, что они должны найти в себе силы и мужество пойти на жертвы, соизмеримые по тяжести с муками, которые терпит наш гибнущий народ. Они не понимают. Цели и средства немцев не имеют прецедентов в истории. Реакция демократических стран тоже должна быть беспрецедентной, они должны прибегнуть к небывалым способам противодействия. Иначе их победа будет неполной, только военной — немцы успеют довести до конца свою разрушительную программу. — Он замолчал, отпустил мое плечо и через мгновение продолжил, но уже не так порывисто, взвешивая каждое слово: — Скажите им, что они должны связаться с влиятельными лицами и органами власти в Англии и Америке. Пусть потребуют твердых обещаний, что будут предприняты серьезные меры для спасения еврейского народа. А чтобы вырвать такие обещания, пусть устраивают голодовки в публичных местах, пусть умрут мучительной смертью на глазах всего мира. Может, хоть это разбудит

общественное сознание.

Меня прошиб холодный пот. Я хотел встать, но сионист жестом удержал меня:

— Еще одно обстоятельство. Мы не хотели посвящать вас в это, но при нынешнем положении уже не имеет смысла скрывать. Мы требуем от наших заграничных братьев решительных шагов и жертв вовсе не из жестокости. Мы разделим с ними эти жертвы. Варшавское гетто обречено, но долгой мучительной смерти мы предпочтем смерть в бою. Мы объявим войну Германии — заведомо безнадежную, какой еще не бывало на свете.

Тут резко встал бундовец — видимо, его товарищ сказал что-то лишнее.

— Мы действительно собираемся организовать оборону гетто, — проговорил он очень медленно. — Не потому, что верим в успех, а чтобы весь мир увидел эту неравную борьбу и чтобы это послужило ему укором и примером. Мы ведем переговоры с командованием Армии Крайовой о получении необходимого оружия. И если получим, то в ближайшие дни немцев ждет кровавый сюрприз [10].

— Вот тогда и посмотрим, — заключил сионист, — могут ли евреи не только страдать и погибать, как повелел Гитлер, но умирать с оружием в руках.

Через два дня я отправился в варшавское гетто в сопровождении лидера Бунда и одного бойца еврейского сопротивления. Разумеется, немцы выбрали для гетто самый нищий район города. Убогие дома в два-три этажа. Узкие, плохо вымощенные улочки. Еще в сентябре 1939 года немецкие бомбы пробили большие бреши в рядах трущоб — там и тут попадались горы обломков. Это гиблое место, откуда вывезли всех «арийцев», обнесли кирпичной стеной высотою около трех метров и согнали сюда более четырехсот тысяч евреев.

На мне была потрепанная одежда и кепка, надвинутая до самых глаз. Я старался казаться как можно меньше ростом. Рядом со мной шли двое типичных местных обитателей — в лохмотьях и еле живые от голода. Мы проникли в гетто через тайный ход.

Снаружи почти вдоль всей стены гетто широкой полосой тянулся пустырь. Один из стоявших там домов был построен так, что входили в него с арийской стороны, а дверь одного из подвалов вела прямо в гетто. Этот дом на Мурановской улице позволял многим евреям поддерживать связь с внешним миром. Если соблюдать осторожность и хорошо ориентироваться в подвальном лабиринте, это было сравнительно легко. Дом, точно мифическая река Стикс, отделял мир живых от мира мертвых. Теперь, когда варшавского гетто больше нет, когда все оно, как и

обещали мои друзья, разрушено во время героической обороны, я могу рассказывать об этом доме и его подвалах, ни на кого не навлекая опасности, тем более что проход больше ни для чего не нужен.

Надо ли описывать варшавское гетто после всего, что уже о нем сказано? Что это было — кладбище? Нет, поскольку жизнь в телах здешних обитателей еще теплилась — они двигались или даже лихорадочно метались, но ничего человеческого, кроме кожи, глаз да голоса, в этих ходячих скелетах не осталось. Всюду голод, страдания, смрад разлагающихся трупов, душераздирающие стоны умирающих детей, вопль народа, изнемогающего в отчаянной, обреченной на поражение борьбе за жизнь.

Проникнуть за стену значило попасть в другой мир — даже в самом страшном сне не могло бы привидеться ничего подобного. Нигде ни метра свободного пространства. Пока мы с трудом пробирались по грязи среди развалин, вокруг нас сновали в поисках чего-то или кого-то тени, когда-то бывшие мужчинами и женщинами, с горящими голодными глазами.

Казалось, всё и вся тут находится в постоянном движении. Вот старик с остекленевшими глазами прислонился к стене, но продолжает трястись, словно какая-то посторонняя сила управляет его телом. Названия улиц, лавок и учреждений написаны старинными еврейскими буквами. Делать надписи на немецком и польском языках внутри гетто запрещалось, из-за этого многие жители не могли прочитать таблички и вывески. Время от времени встречались упитанные немецкие полицейские, которые в толпе исхудалых людей казались распухшими. Каждый раз при виде одного из них мы ускоряли шаг или переходили на другую сторону, как будто боялись заразиться.

На нашем пути попалось жалкое подобие скверика: относительно чистый пятачок, где чудом уцелели с полдюжины деревьев почти без листьев и островок зеленой травы. Тут было полным-полно народу. На скамейках тесно сидели матери, кормящие грудью чахлых младенцев. Дети постарше, у которых можно было пересчитать все кости, играли, сбившись в кучку.

— Играют перед смертью, — сказал мой спутник слева сдавленным голосом.

— Да эти дети вовсе не играют! — вырвалось у меня. — Они только делают вид.

Вдруг мы услышали мерный звук шагов. К нам приближалась группа молодых парней. Они шли строем по середине улицы, под охраной полицейских. Одежда на них была грязная и драная, но сами они выглядели не такими хилыми и голодными, как все

остальные. Однако, хоть и более здоровые на вид, они походили на роботов. Шли деревянным шагом, с застывшими от усталости лицами, уставившись блестящими глазами прямо перед собой и словно не видя ничего вокруг.

— Этим повезло, — сказал бундовец. — Немцы сочли, что они еще могут быть полезными — чинить дороги и железнодорожные пути. Пока у них хватает сил работать, их не трогают. Все им завидуют. Нам удалось спасти сотни людей: мы достали им поддельные документы, удостоверяющие, что раньше они занимались чем-то похожим. Но долго это не продлится.

По пути мы видели множество трупов, они валялись на земле, раздетые догола.

— Что это значит? — спросил я у нашего проводника. — Почему они голые?

— Когда еврей умирает, — ответил он, — родственники раздевают его, а тело выбрасывают на улицу. Чтобы его похоронить, пришлось бы платить немцам. А цена так велика, что это никому тут не по карману. Ну, а одежда может пригодиться. Каждая тряпка на счету.

Меня пробрала дрожь. На ум пришли слова, которые я часто слышал, но никогда прежде до конца не понимал: Ecce homo — се человек.

Тут я заметил старика, который шел, шатаясь и держась за стены, чтобы не упасть, и сказал:

— Что-то совсем не видно стариков. Они что, целый день сидят по домам?

Ответ прозвучал так, словно голос проводника исходил из могилы:

— Просто их больше нет!.. Их увезли в Треблинку! Может, они уже на небе? Немцы народ практичный. Тех, у кого еще осталась физическая сила, используют на принудительных работах. Остальных планомерно уничтожают. Сначала больных и стариков, потом неработоспособных, потом тех, чьи профессии не имеют прямого отношения к военным нуждам, и, наконец, тех, кто сейчас работает на заводах и ремонте дорог. А в последнюю очередь — евреев-полицейских, которые губят соплеменников, надеясь спасти свою шкуру. Но всех, всех нас ждет одно и то же! Всех отправят на смерть!

Он говорил глухо и бесстрастно.

Внезапно откуда-то донеслись крики, и вокруг началась паника, женщины в скверике хватали детей и бежали к ближайшим домам.

Спутники потянули меня за руки. Я не видел и не понимал, что происходит. Со страху подумал: может, меня разоблачили?

Меня затолкали в первый же попавшийся подъезд.

— Быстро, быстро! Вы должны это видеть! И рассказать всему миру! Скорей!

Мы взбежали на последний этаж. Я услышал выстрел. Мои товарищи постучали в одну из дверей. Дверь приоткрылась, показалось бледное, изможденное лицо.

— Ваши окна выходят на улицу? — спросил бундовец.

— Нет, во двор. А что?

Бундовец с досадой захлопнул дверь и принялся кулаком колотить в противоположную. Открыл какой-то мальчик. Бундовец отпихнул его, так что тот, испугавшись, с криком отбежал назад, в комнату. Меня подтолкнули к окну и велели смотреть на улицу сквозь занавеску.

— Сейчас вы кое-что увидите. Охоту. Не увидь вы этого собственными глазами, ни за что бы не поверили.

И я увидел. Посреди улицы стояли двое юнцов в форме гитлерюгенда. Оба без головного убора — светлые волосы блестели на солнце. Круглолицые, румяные, голубоглазые — воплощение бодрости и здоровья. Они смеялись, болтали, шутливо пихали друг друга — им было весело. Младший вынул из бокового кармана револьвер, и только тогда до меня дошло, в чем дело. Жадно осматриваясь, как мальчишка на ярмарке, юнец выискивал глазами цель.

Я проследил за его взглядом. Улица была пуста. Юнец смотрел куда-то вне моего поля зрения. Вот он поднял руку, тщательно прицелился. Раздался выстрел, звон разбитого стекла и чей-то предсмертный вопль.

Стрелявший радостно вскрикнул. Приятель похлопал его по плечу и что-то сказал — видимо, поздравил с удачей. Они еще немного постояли, улыбаясь довольно и нагло. А потом под ручку зашагали прочь, точно возвращались со спортивного соревнования.

Я замер, приникнув к стеклу, от ужаса у меня отнялись ноги и язык — я не мог сделать ни шагу, не мог произнести ни слова. В комнате стояла тишина. И мне казалось, что малейший шорох, малейшее движение способны спровоцировать новую сцену, подобную той, что только что разыгралась на моих глазах.

Я стоял, потеряв всякое представление о времени, пока кто-то сзади не тронул меня за плечо. Я вздрогнул и обернулся. Это была хозяйка квартиры, в тусклом свете ее исхудавшее лицо казалось белым как мел. Она заговорила, выразительно жестикулируя:

— Вы пришли на нас посмотреть? Это никому не нужно! Уходите. Бегите. Не мучайте себя больше.

Оба моих спутника неподвижно сидели на колченогой кровати, обхватив голову руками. Я подошел к ним и сказал, с трудом ворочая языком:

— Пошли. Уведите меня. Я страшно устал. Больше не могу. Я еще приду в другой раз.

Они встали, не говоря ни слова. Так же молча мы спустились по лестнице. На улице я едва не пустился бегом и так, быстрым шагом, дошел до самого выхода из гетто. Спешить было некуда, но я испытывал желание вдохнуть чистого воздуха, попить свежей воды, а здесь все вокруг казалось зараженным гниением и смертью. Я старался ни к чему не притрагиваться. И даже дыхание сдерживал. Предложи мне кто-нибудь в этом мертвом городе стакан воды — я отказался бы, даже если бы умирал от жажды. В подвале на Мурановской мы переоделись, а потом бундовец и я вернулись на арийскую сторону, а наш провожатый остался.

Через два дня я снова отправился в гетто и три часа с теми же спутниками ходил по улицам этого ада, чтобы детально все запомнить. Я собственными глазами видел смерть ребенка, агонию старика, видел, как евреи-полицейские избивали дубинками старуху. Перед самым уходом из «запретного квартала» мы зашли в одну квартиру попить воды. Пожилую хозяйку, видимо, предупредили о нашем приходе. Она не жаловалась, не плакала. А воду подала мне в хрустальном бокале — возможно, это был последний ценный предмет, который у нее оставался.

О том, что видел в гетто, я рассказал в Англии и Соединенных Штатах, довел это до сведения крупных государственных деятелей. Разговаривал с еврейскими лидерами в Европе и Америке. Поведал все нескольким писателям с мировой славой: Герберту Уэллсу, Артуру Кестлеру, членам британского и американского Пен-клубов, чтобы они пересказали это с большей силой и талантом, чем я.

В Лондоне, по прошествии пяти недель, заполненных встречами и докладами, так что я был занят с девяти утра до двенадцати ночи, мне наконец сообщили, что меня желает видеть Шмуэль Зигельбойм, лидер партии Бунд за границей и член Национального совета нашего правительства.

До 1940 года он оставался в Польше и работал в еврейском подполье. Входил в совет варшавской еврейской общины, и одно время, насколько я знаю, немцы держали его в заложниках. А потом он уехал в Лондон и был уполномочен Бундом представлять в польском правительстве в изгнании еврейских

социалистов.

Встреча была назначена на 2 декабря 1942 года в Стреттон-хаусе, недалеко от Пиккадилли, в помещении польского министерства внутренних дел. Это огромное здание, и я не без труда отыскал указанную мне комнату на пятом этаже. Зигельбойм ждал меня, сидя за простым письменным столом. Вид у него был утомленный. Типичный еврейский лидер, с пронзительным настороженным взглядом пролетария, поднявшегося до вершин власти. Должно быть, в молодости ему пришлось нелегко.

— Что вы хотите от меня узнать? — спросил я его.

— Все, что касается евреев, друг мой. Я сам еврей. Расскажите мне, что вам известно.

Я начал свой рассказ. Зигельбойм слушал внимательно, жадно, он подался ко мне, упираясь руками в колени и широко раскрыв глаза. Он хотел знать все до мельчайших подробностей: в каком состоянии были дома, как выглядели дети, что дословно сказала женщина, положившая руку мне на плечо после «охоты». Он спрашивал, какое у меня осталось впечатление от представителя Бунда: как он был одет, как говорил, очень ли был взволнован? Попросил описать валяющиеся на улицах гетто трупы. Я старался, как мог, и к концу беседы выбился из сил. Зигельбойм, казалось, устал еще больше, глаза у него буквально вылезали из орбит. Пожимая мне на прощание руку, он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Пан Карский, я сделаю все, чтобы помочь им. Все, что смогу. Выполню все, о чем они просят. Вы верите мне?

Я ответил довольно сухо и нетерпеливо. Все эти беседы и интервью меня уже так измотали!

— Конечно, верю. Не сомневаюсь, что вы сделаете все, что сможете. О Господи, каждый из нас делает все, что может!

В общем-то, я думал тогда, что Зигельбойм просто хвастает или обещает больше, чем может сделать. Я был раздражен. Он задал мне столько бесполезных вопросов… Верю ли я? Какая разница, верю я ему или нет! Я и сам не знал, чему верил, а чему — нет. Хватит уже мне докучать. У меня и своих забот по горло…

Прошло несколько месяцев, я жил в таком бешеном ритме, что и думать забыл о Зигельбойме. Но 13 марта 1943 года произошло событие, которое стало эпилогом нашей встречи. До самой смерти я буду помнить этот день. Я ненадолго присел отдохнуть у себя в номере на Долфин-сквер, как вдруг зазвонил телефон. Я не спешил отвечать и только после трех-четырех звонков неохотно снял трубку. Звонил чиновник из Стреттон-хауса, которого я знал:

— Пан Карский? Мне поручено сообщить вам, что Шмуэль Зигельбойм, член Польского национального совета и представитель Бунда в Лондоне, вчера покончил с собой. Он оставил письмо, в котором написал, что сделал все, что мог, чтобы помочь польским евреям, но ничего не вышло, что все его братья погибли и он присоединяется к ним. Он отравился газом.

Я повесил трубку.

В первый момент я ничего не почувствовал, но потом меня охватила невыносимая тоска, к которой примешивалось чувство вины. Мне показалось, что это я, пусть опосредованно и невольно, подписал смертный приговор Зигельбойму. Я подумал, что он мог счесть мой ответ на его последний вопрос холодным и черствым. До чего же тупым, циничным и жестоким стал я в своих суждениях, если не смог оценить, на какую самоотверженность способен такой человек, как Зигельбойм. Еще несколько дней после этого я чувствовал, что моя вера в себя и в наше дело сильно пошатнулась, и заставлял себя работать вдвое больше, чтобы прогнать эти непозволительные мысли.

С тех пор я часто думал о Шмуэле Зигельбойме, одной из самых трагических жертв страшной войны. Ведь он покончил с собой от полной беспросветности. Ушел из жизни по собственной воле, потеряв надежду. Многие ли смогут понять, что значит умереть так, как умер он, борясь за победу, которая, скорее всего, грядет, но ничего не изменит в судьбе истребленного народа, в исчезновении всего, что имело смысл для этого человека. Из всех смертей, которые я повидал за эту войну, смерть Зигельбойма — одна из самых впечатляющих: она показывает, каким жестоким и страшным стал наш мир, где люди и народы отделены друг от друга бездной равнодушия и эгоизма[11]. В нем царят враждебность и недоверие, и даже те, кто всеми силами борется за его улучшение, совершенно бессильны.

Глава XXX. Последний этап

Через несколько дней после второго посещения гетто бундовец нашел способ показать мне один из лагерей уничтожения для евреев.

Он находился неподалеку от деревни Белжец[12], примерно в ста шестидесяти километрах к востоку от Варшавы, и по всей Польше ходили о нем самые мрачные слухи. Говорили, что практически все евреи, которые попадали в этот лагерь, обречены на смерть. Только затем их туда и везли.

Сам бундовец никогда там не был, но владел подробной информацией (которую получал, главным образом, от польских железнодорожников [13]) обо всем, что там происходило.

Мы выбрали день, на который была назначена казнь. Разузнать это не представляло большого труда, так как многие эстонцы, литовцы и украинцы, служившие в лагере охранниками под началом гестапо, одновременно работали на еврейские организации, не из гуманных или политических соображений, а за деньги. Предполагалось, что я надену форму одного из украинских охранников[14], у которого в тот день был выходной, и воспользуюсь его документами. Меня уверяли, что неразбериха и продажность в лагере так велики, что никто и не заметит подмены. К тому же операция была тщательно подготовлена. Я должен был войти в лагерь через ворота, охраняемые только немцами, — украинец легко распознал бы обман. А так — украинская форма сама по себе послужит пропуском, и никто меня, скорее всего, ни о чем не спросит. На всякий случай меня сопровождал еще один подкупленный украинец. При необходимости же, поскольку я говорю по-немецки, я смогу договориться с немецкими охранниками и заплатить им тоже.

План выглядел простым и надежным. Я, не колеблясь, принял его и ничуть не боялся, что меня схватят.

Рано утром в назначенный день я выехал с варшавского вокзала вместе с евреем-подпольщиком, работавшим за пределами гетто. Мы доехали поездом до Люблина. Там нас ждала деревенская телега. Крестьянин повез нас по проселочным дорогам, избегая оживленного шоссе, ведущего в Замосць. До Белжеца (точнее, до Избицы Любельской[15]) добрались в первом часу и сразу направились в условленное место, где первый украинец должен был передать мне свою форму. Это была бакалейная лавочка. Прежде ее хозяином был еврей, потом его убили, и теперь лавочку, с разрешения гестапо, держал местный крестьянин, разумеется, участник сопротивления. Он назвался

Онышко.

Форма украинского охранника ждала меня, однако владелец ее, видимо из осторожности, решил не показываться мне на глаза. Будет лучше, верно подумал он, если, в случае чего, я бы не смог опознать и выдать его. Но экипировку передал мне всю целиком: брюки, сапоги, ремень, галстук и фуражку. Правда, документы дал не свои, а товарища, который, вроде бы, вернулся в родную деревню. Подозреваю, что на самом деле тот дезертировал, а документы продал — в Польше такое бывало сплошь и рядом. Форма и сапоги оказались мне в самый раз, а вот фуражка сползала на уши. Пришлось набить ее бумагой. Онышко на вопрос, как я выгляжу, ответил, что давно не видал такого типичного украинца.

Через час-другой явился охранник, который должен был провести меня в лагерь. Он свободно говорил по-польски. План оставался прежним: мы войдем через ворота, охраняемые двумя немцами. Они никогда не проверяют документы у украинцев, достаточно поприветствовать их и поздороваться по-немецки. На территории же мой провожатый отведет меня в такое место, откуда все видно. Мне останется только стоять и смотреть. А потом мы примкнем к группе охранников, покидающих лагерь, и выйдем вместе с ними. Общения с другими украинцами мне было велено избегать — они непременно поймут, что я «чужой».

Охранник критически оглядел меня и стал управлять мною, как куклой: заставил начистить сапоги, поправить галстук, затянуть ремень и сказал, что мне не хватает военной выправки. По его словам, немцы очень строго следили за внешним видом «своих литовцев, эстонцев и украинцев» и не терпели небрежности.

От лавочки до лагеря было километра два. Чтобы ни с кем не встретиться, мы пошли не по дороге, а по тропинке. Идти надо было минут двадцать, но уже за полкилометра до лагеря стали слышны команды, выстрелы и дикие вопли — чем дальше, тем отчетливее они доносились.

— В чем дело, что там творится? — спросил я.

— Евреям становится жарко, — усмехнулся мой спутник, явно довольный своей шуткой. Но, встретив мой суровый взгляд, видимо, удивился и пробурчал уже без всякого веселья: — Да ничего, все нормально, загрузили очередную порцию.

Больше я его не расспрашивал. Мы подходили все ближе, и крики звучали все громче, а иногда вдруг раздавался такой чудовищный вопль, что у меня шевелились волосы.

— Есть у этих людей хоть какой-нибудь шанс убежать? — спросил я, надеясь на положительный ответ.

— На малейшего, — ответил охранник, — попал сюда — пиши пропало.

— И что, совсем никак нельзя спастись, ни одному человеку?

— Ну… разве что кто-нибудь подсобит, — уклончиво сказал он.

— Кто же?

— Какой-нибудь охранник вроде меня. Только это большой риск. Если этого охранника поймают на том, что он спасает еврея, обоим конец.

Все же я раздразнил его, и он все приглядывался ко мне краем глаза. Я делал вид, что ничего не замечаю. Наконец он не выдержал и продолжал с намеком:

— Конечно, если этот еврей хорошо заплатит, то можно что-нибудь придумать. Хотя риск все равно остается!

— Да как же он заплатит? Ведь тут ни у кого нет денег!

— А кто говорит о них? Платят заранее. С ними, — он кивнул на лагерь, — никто и дела не имеет. Договариваются с кем-нибудь на воле. Вот с такими, как вы. Если ко мне придет человек и скажет, что завтра привезут такого-то еврея, я могу им заняться. Но при условии: деньжата вперед.

Что ж, он раскрыл свои карты.

— И вы уже кого-нибудь вот так спасали?

— Несколько человек. Не очень много. Можно бы и больше, — засмеялся он.

— А кроме вас, много еще таких, кто спасает евреев?

— Спасает? Да кому нужно их спасать? Это просто сделка.

Спорить не имело смысла — у него был свой взгляд на вещи. Он подробно излагал свои соображения, а я молчал. Заставить его изменить точку зрения было явно невозможно. Я смотрел на его грубоватое, но, в общем, довольно симпатичное лицо и думал, до какой же степени ожесточила его война. А ведь он был простым малым, самым обыкновенным, не таким уж хорошим, но и не слишком плохим. Судя по мозолистым рукам — крестьянином. Занимался до войны своим делом, был честным отцом семейства, ходил по воскресеньям в церковь. Теперь же, под влиянием гестапо и нацистских милостей, окруженный другими такими же, как он, ненасытными охотниками за наживой, превратился в настоящего мясника. Весь поглощенный торговлей и подсчетом прибыли, он говорил хладнокровно, на языке профессионалов, будто колбасник о своем товаре.

— А вам-то самому что тут нужно? Зачем приехали? — делано безразличным тоном спросил он.

— Я тоже хочу спасать евреев. Разумеется, с вашей помощью.

— Без нас и не пытайтесь, не советую!

— Конечно. Без вас у меня ничего не получится. А вместе мы, глядишь, чего-нибудь добьемся.

— Как вам будут платить? Поштучно?

— А как вы посоветуете?

Он на миг задумался.

— На вашем месте, я бы брал поштучно. Оптом не так выгодно. Никогда не знаешь, на кого нарвешься и как его получше «ощипать». А тот, кто хочет вызволить кого-нибудь из близких, торговаться не будет. Нужно иметь, как они говорят, kiepele — по-нашему, мозги. Иначе ничего не заработаешь.

— Это верно, — согласился я.

— Ясное дело, верно! Смотрите же, договорились: половину — до, половину — после, и не вздумайте меня кинуть.

Я поклялся сдержать слово.

— Вы из Варшавы — там у вас все проще. Гетто под боком. Оттуда гораздо легче «спасать», — он хитро подмигнул.

— Зато и платят там меньше, — возразил я, а он пожаловался на каторжную работенку. Вокруг стоял жуткий смрад. Мы почти пришли, и я радовался, что избавлюсь от его болтовни.

Он спросил, как я думаю, скоро ли немцы выиграют войну, и, когда я ответил, что они, может, и вовсе не выиграют, ужасно удивился: это ж просто смешно, ведь все яснее ясного: Гитлер — колдун или сам черт, и никто никогда его не победит.

До лагеря оставалось меньше километра, когда опять раздались выстрелы и крики. Запахло нечистотами, усилился трупный смрад. Или мне почудилось? Во всяком случае, мой спутник, казалось, ничего не замечал и даже стал что-то напевать. Мы миновали перелесок из чахлых деревьев и вышли прямо к жуткому лагерю смерти, обители стонов и слез.

Это было плоское пространство размером около тысячи квадратных метров, обнесенное оградой из нескольких рядов колючей проволоки в два с половиной метра высотой. Изнутри по всему периметру, на расстоянии примерно в пятнадцать метров друг от друга, стояли охранники, вооруженные автоматами с примкнутыми штыками. Снаружи ходили патрули — каждый охранял участок в полсотни метров. На самой территории лагеря стояло десятка полтора бараков, а между ними колыхалась плотная человеческая масса. Страшно было смотреть на это мельтешение истощенных грязных узников. Немцы и охранники прокладывали себе путь в толпе, раздавая направо и налево удары прикладом, с равнодушным, скучающим видом, как будто пастухи среди стада коров; для них это была обыденная, надоевшая работа.

Помимо двух главных ворот, в колючей проволоке было

проделано еще несколько проходов, видимо, служебных. Каждый охраняли двое немцев. Мы приостановились, чтобы сосредоточиться. Слева, примерно в сотне метров, виднелась железная дорога, вернее, тупик. От лагеря к ней вел огороженный дощатыми щитами коридор, в конце которого стоял товарный поезд из трех десятков старых, грязных и пыльных вагонов.

Украинец проследил за моим взглядом и оживленно сказал:

— Это поезд, который скоро будут загружать. Вот увидите!

Мы подошли к служебному входу. Там стояли двое унтер-офицеров, я расслышал обрывки немецкой речи и приостановился. Украинец подумал, что я заколебался, и торопливо шепнул, пихнув меня сзади:

— Пошли, пошли, не бойтесь, они увидят, что на вас эта форма, и даже не заглянут в документы.

Действительно, мы спокойно прошли, старательно поприветствовав немцев — они в ответ лениво шевельнули рукой, — и смешались с толпой заключенных.

— Идите за мной, — сказал мой провожатый. — Я покажу вам хорошее место.

Мы прошли мимо старика — он сидел прямо на земле, совершенно голый, и раскачивался взад-вперед. Глаза его лихорадочно блестели, он часто моргал. Никто вокруг не обращал на него внимания. Рядом со стариком корчился в спазмах и испуганно озирался мальчик в лохмотьях. Вокруг кишели, судорожно метались обезумевшие люди. Они размахивали руками, кричали, плевались, ругались. У них помутился рассудок от голода, жажды, истощения и страха. Судя по всему, их по три-четыре дня держали в лагере без куска хлеба и капли воды.

Всех их свозили из разных гетто. С собой разрешалось взять пять килограммов багажа. Большинство брали еду, одежду, одеяла и деньги или украшения, у кого они имелись. Но в поезде всё хоть сколько-нибудь ценное отбирали немцы. Оставляли только самую плохонькую одежду и немного съестного. Те же, у кого ничего не было, умирали от голода.

И никакого порядка, везде царил хаос. Люди были не в состоянии хоть чем-то поделиться, помочь друг другу, теряли человеческий облик, в них оставался только простейший инстинкт самосохранения. Вдобавок ко всему, стояла холодная дождливая осень. В бараках могло поместиться не больше двух-трех тысяч человек, а с каждой партией прибывало пять с лишним тысяч. Это означало, что две-три тысячи мужчин, женщин и детей оставались мерзнуть под открытым небом.

Весь ужас того, что я увидел, не передать словами. Воздух был отравлен миазмами, воняло потом, гнилью, нечистотами.

Чтобы добраться до нужного места, нам надо было пройти через весь лагерь. Это оказалось тяжелым испытанием. Приходилось буквально шагать по людям. Мой спутник пробирался сквозь толпу довольно ловко — ему было не привыкать. Я же каждый раз, когда наступал на человеческое тело, замирал, едва сдерживая тошноту, но украинец подталкивал меня.

Наконец мы остановились метрах в двадцати от выхода, через который евреев загоняли в вагоны. Тут и правда не было такой толкучки. Мне стало полегче. Охранник дал последние указания:

— Вы останетесь здесь, а я пошел. И помните: к другим охранникам не подходить! В случае чего — я вас не знаю. Ясно?

Я слабо кивнул, и он ушел. Почти полчаса я наблюдал чудовищное зрелище человеческих мук, подавляя желание убежать и с трудом убеждая себя, что я не принадлежу к числу заключенных. Еще следовало постоянно быть начеку и держаться подальше от украинских охранников, которые время от времени проходили мимо. Довольно долго они все так же спокойно расхаживали среди скопища умирающих, но в какой-то миг, точно сговорившись, застыли, глядя в сторону поезда.

К воротам подошли два немецких полицейских и здоровенного роста эсэсовец. По его команде тяжелые ворота медленно раскрылись. Выход из коридора был перекрыт двумя товарными вагонами, так что никто не смог бы бежать.

Эсэсовец повернулся к толпе евреев, широко расставил ноги, подбоченился и заорал на весь лагерь:

— Ruhe! Ruhe! Тишина! Тишина! Все евреи должны погрузиться в этот поезд! Он отвезет вас туда, где вы получите работу! Не толкайтесь, соблюдайте порядок! Кто начнет сеять панику — будет застрелен на месте!

Он надменно оглядел море несчастных жертв. Потом вдруг расхохотался, выхватил пистолет и несколько раз, не целясь, выстрелил в толпу. Тотчас раздался чей-то душераздирающий крик. Ухмыльнувшись, эсэсовец вложил пистолет в кобуру и снова гаркнул:

— Alle Jüden, raus, raus![16]

Но еще несколько мгновений толпа оставалась на месте. Хотя в ней началась неописуемая давка: стоявшие в первых рядах пытались спастись от пуль и протиснуться вглубь, а задние их не пускали. Прогремели новые выстрелы — теперь с разных сторон: справа, слева и сзади. Тогда вся людская масса хлынула в узкий проход, едва не опрокинув деревянные щиты, однако двое полицейских, обеспечивавших ход операции, дабы усмирить самых ретивых, выстрелили прямо в лицо подбежавшим первыми евреям.

— Ordnung, Ordnung! [17]— как бесноватый, орал эсэсовец.

— Тихо, тихо! — вторили ему двое охранников.

В конце концов, запуганные стрельбой несчастные люди устремились к вагонам и быстро заполнили оба.

Однако самое страшное мне еще предстояло увидеть. Проживи я сто лет — и то не забуду этого ужаса.

По военному уставу, товарный вагон вмещает в себя восемь лошадей или сорок человек. Максимум — сто, это если все без багажа и стоят буквально впритирку. Так вот, немцы установили норму — от ста двадцати до ста тридцати евреев в каждый вагон. Полицейские, орудуя то дулом, то прикладом автомата, втискивали людей в уже набитые битком вагоны. Обезумевшие от страха узники карабкались по спинам и головам товарищей. А те пытались сбросить их и заслоняли лицо. Трещали кости, раздавались надрывные крики.

Когда уже некуда было просунуть иголку, охранники наглухо закрыли двери вагонов с человеческим месивом и заперли на железные засовы.

Но и это еще не все. Заранее знаю: многие не поверят мне, подумают, что я преувеличиваю или выдумываю. Так вот, я клянусь, что говорю чистую правду. Других доказательств, вроде фотографий, у меня нет, но все было именно так, как я сейчас расскажу.

Полы в поезде были засыпаны густым слоем белого порошка — негашеной извести. Все знают, что бывает, если на негашеную известь попадает вода: смесь начинает шипеть и выделять огромное количество тепла.

В данном случае немцы использовали это вещество одновременно из практических соображений и из жестокости.

Влажная плоть при контакте с известью обезвоживается и обугливается. То есть люди, запертые в вагонах, будут медленно сгорать, так что останутся одни кости. Таким образом, исполнялось обещание Гитлера, данное в Варшаве в 1942 году, о том, что «по воле фюрера, евреи умрут мучительной смертью». Кроме того, благодаря извести, трупы не будут разлагаться и разносить заразу. Все просто, действенно и дешево.

На то, чтобы заполнить поезд, понадобилось три часа. Уже начало смеркаться, когда закрыли последний, сорок шестой, по моим подсчетам, вагон. Их оказалось вдвое больше, чем я думал. Весь состав, начиненный мучениками, трясся и голосил, будто заколдованный. На территории лагеря осталось лежать несколько десятков агонизирующих раненых. Полицейские с дымящимися револьверами ходили между ними и приканчивали по одному. В лагере теперь было тихо и спокойно. Тишину нарушали только

нечеловеческие вопли, которые доносились из поезда. Потом и они прекратились, остался только сладковатый, тошнотворный запах крови — ею пропиталась земля.

Я знал от информаторов, что будет дальше с поездом. Его отгонят на сотню километров, остановят посреди поля и оставят там дня на три-четыре, пока смерть не охватит все, до последнего уголка. А затем сильные молодые евреи, под надежной охраной, вычистят вагоны, вытащат дымящиеся останки и сбросят в общую могилу. Они будут проделывать это каждый день, пока однажды сами не станут пассажирами поезда смерти. Весь цикл займет несколько дней. Потом лагерь снова понемногу наполнится, поезд вернется, и все повторится сначала.

Я стоял и смотрел вслед уже невидимому поезду, когда кто-то тронул меня за плечо. Это был мой украинский охранник.

— Проснитесь, — резко сказал он, — не стойте, разинув рот! Надо поскорее убираться, пока мы оба не попались. Давайте живо за мной!

С трудом соображая, что делаю, я поплелся за ним. Мы подошли к выходу. Мой провожатый показал на меня пальцем немецкому офицеру, тот сказал:

— Sehr gut, gehen sie[18].

И мы прошли.

Сначала шли вместе, но очень скоро разошлись, и я чуть ли не бегом побежал к бакалейщику. В лавку я влетел, еле переводя дух, но на обеспокоенный взгляд хозяина ответил, что все в порядке. Поскорее стащил с себя форму, бросился в кухню и заперся на ключ. Хозяин встревожился еще больше. Как только я вышел из кухни, он ринулся туда сам и в ужасе закричал:

— Что случилось? Вся кухня залита водой!

— Мне надо было помыться, — ответил я. — Я был очень грязный.

— Оно и видно, — пробурчал он.

Я попросил разрешения отдохнуть в саду, без сил растянулся под деревом и мгновенно провалился в сон. А когда очнулся, окоченевший от холода, была уже ночь, светила луна. Шатаясь, я пошел в дом и рухнул на свободную кровать; хозяин спал, тотчас заснул и я.

Утром я проснулся с жуткой головной болью, которая от солнечного света, даже не такого уж яркого, еще усиливалась. Хозяин сказал, что я всю ночь метался. А стоило мне встать с постели, как началась неукротимая рвота. Она продолжалась весь день и всю ночь, под конец меня рвало какой-то кровянистой жидкостью. Хозяин перепугался, и я еле убедил его, что это незаразно. Перед сном я попросил у него водки, он принес

бутылку, и я выхлестал два полных стакана, после чего опять заснул и проспал около полутора суток.

При следующем пробуждении голова болела меньше, и я смог проглотить немного пищи, но был еще очень слаб. Хозяин отвез меня на станцию и помог сесть в варшавский поезд.

Картины лагеря смерти навсегда останутся у меня перед глазами. Мне никогда не избавиться от них, и при одном воспоминании к горлу подступает рвота. Но еще больше, чем сами зрительные образы, меня мучает мысль о том, что такие чудовищные вещи вообще были возможны.

notes

Примечания

1

Город был переименован советскими властями в Тернополь 9 августа 1944 г. (Здесь и далее — прим. перев.)

2

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известный как пакт Молотова — Риббентропа, по именам подписавших его министров иностранных дел) был заключен 23 августа 1939 г. К договору прилагался секретный протокол, который предусматривал присоединение к обеим странам некоторых областей, входящих в их «сферу влияния». В частности, Польшу предполагалось разделить на две части, восточная предназначалась СССР, а западная — Германии. В конце сентября 1939 г. этот раздел был завершен.

3

Армия Крайова — подпольная военная организация, действовавшая в 1942–1945 гг. в оккупированной Польше. Подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне.

4

Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) — еврейская социалистическая партия, объединявшая рабочих и ремесленников западных областей Российской империи; основан в 1897 г. в Вильно.

5

Это был Леон Файнер (1888–1945), до войны известный адвокат, член подпольного руководства Бунда, представитель Бунда и ЖОБа на арийской стороне, заместитель председателя и председатель Совета помощи евреям «Жегота».

6

Имя этого человека точно неизвестно.

7

Вести о расстрелах евреев доходили в варшавское гетто уже осенью 1941 г. В феврале 1942-го до Варшавы добрался человек, которому удалось бежать из лагеря уничтожения Хелмно, он рассказал, как евреев уничтожают там в газовых камерах. Были и другие очевидцы, которые свидетельствовали о страшных злодеяниях нацистов. В феврале 1942 г. начались планомерные массовые убийства евреев на территории Польши, а в июле 1942 г. — депортации из варшавского гетто в лагерь смерти Треблинка. О том, что происходило в Треблинке, обитатели гетто узнали уже месяц спустя от двух беглецов.

8

В декабре 1942 г. была создана организация спасения польских евреев «Жегота», которую финансировали польское правительство в изгнании, Бунд и Еврейский национальный комитет. «Жегота», в которую входили люди разных национальностей, религиозных и политических взглядов, снабжала евреев фальшивыми документами, помогала им укрываться, хотя такое укрывательство каралось смертью. Несколько тысяч еврейских детей было размещено в семьях, монастырях и детских домах. Но нехватка сил и средств не позволяла сделать эту помощь более масштабной.

9

Адам Черняков (1880–1942) — инженер, в 1930-е гг. — сенатор Польши, в 1939–1942 гг. возглавлял юденрат (еврейский административный орган самоуправления) варшавского гетто.

10

С 19 апреля по 12 мая 1943 г. в варшавском гетто произошло героическое вооруженное восстание, подавленное войсками СС. Около 13 000 повстанцев погибли во время обороны гетто, 15 000 оставшихся евреев были отправлены в Треблинку. Спастись удалось немногим.

11

После встречи с Карским Зигельбойм лично обращался к Черчиллю и Рузвельту, выступал по английскому радио с призывом к общественности помочь польским евреям. 13 мая 1943 г., когда в Лондон пришло известие о гибели последних евреев восставшего варшавского гетто (там погибли его жена и сын), Зигельбойм покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой говорилось: «Моя смерть — выражение негодования и протеста против пассивности, с которой мир взирает на полное уничтожение еврейского народа и пассивно смиряется с этим <…>. Может быть, моя смерть поможет сломить стену равнодушия тех, кто еще может спасти остатки польского еврейства».

12

В Белжеце находился один из трех лагерей уничтожения (Белжец, Собибор, Треблинка), устроенных нацистами для приведения в исполнение плана полного уничтожения евреев на территории Польши. Лагерь существовал с 1939-го по 1943 г. За это время в нем было уничтожено более 600 000 евреев и около 2000 цыган.

13

Служащие польских железных дорог были первыми, кто свидетельствовал о судьбе депортированных евреев. И в Белжеце, и в Треблинке некоторые из железнодорожников входили в ячейки сопротивления, именно они сообщали своим руководителям о том, что в лагеря прибывают составы, набитые людьми, но не доставляется еда для них. Ячейка в Замосци, подкупив лагерных охранников, узнала о существовании газовых камер и огромных рвов, где погребали трупы. Уже в июле 1942 г. эта информация была передана командованию Армии Крайовой и лондонскому правительству, однако никто не поверил, что она правдива.

14

В Белжеце служили эстонские охранники, но Карский пишет именно об украинцах.

15

Лагерь, в котором побывал Ян Карский, находился, как установлено польскими историками, в Избице Любельской, на полпути между Люблином и Белжецем, и примыкал к белжецкому лагерю. Сюда привозили узников, часть которых уничтожали на месте. Как описал Карский, остальных отвозили в Белжец, где функционировали газовые камеры.

16

Все евреи, марш, марш! (нем.)

17

К порядку, к порядку! (нем.)

18

Хорошо, проходите (нем.).